



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ



Юрий Казаков

Долгие крики

П Р О З А Н А В С Е В Р Е М Е Н А

Предметы культа

Юрий Казаков

Долгие крики

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Казаков Ю. П.

Долгие крики / Ю. П. Казаков — «Издательство АСТ»,
— (Предметы культа)

ISBN 978-5-17-150355-0

Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – классик русской литературы XX века. Его рассказы, появившиеся в середине пятидесятых, имели ошеломительный успех – в авторе увидели преемника Бунина; с официальной критикой сразу возникли эстетические разногласия. Впрочем, сам автор гениальных новелл «Манька», «Трали-вали», «Арктур – гончий пес» жил всегда сам по себе, не оглядываясь ни на авторитеты, ни на хулителей. Не приспособливался. Не суетился. Именно поэтому его проза осталась не только памятником времени, но и живым понятным разговором и сейчас. Писатель на все времена.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-150355-0

© Казаков Ю. П.
© Издательство АСТ

Содержание

На полустанке	6
Не красивая	9
Странник	15
Дом под кручей	24
Поморка	32
Манька	36
На о строве	44
Трали-вали	52
В город	59
«Вон бежит собака!»	65
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Юрий Павлович Казаков

Долгие крики

© Казаков Ю.П., наследник

© ООО «Издательство АСТ»

На полустанке

Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берез.

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост в сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз: должно быть, думала о чем-то тяжелом или дремала.

Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно-невывыказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботиках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня.

Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко...

– Вот она, жизнь-то, как повернулась, а? – заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. – Теперь мое дело – порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру... Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чувешь?

– А я как же? – тихо спросила девушка.

– Ты-то? – Парень покосился на нее, кашлянул. – Говорено было. Дай огляжусь – приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе попржиму. За границу ездить буду, житуха начнется – дай бог! Н-да... А к тебе приеду... Я потом это... напишу...

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда; унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с темными пятнами мазута.

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:

– Какой вагон?

Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.

– Девятый. А что?

– Ну-ну... – пробормотал начальник и снова зевнул. – Девятый, говоришь? Так... Девятый. А погода – сволочь. Ох-хо-хо...

Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.

– А ну, хватит! – проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. – Слыхала? Хватит, я говорю!

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь:

– Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О себе подумай, не надрывайся... Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду... Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю...

– А ну, брось! – сказал парень. – Сказано – приеду...

Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий...

– Вон девятый! – быстро сказала девушка. – Подождем!

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал:

– Девушка, это какая станция?

– Лунданка, – сипло сказал проводник.

– Базар есть? – спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку.

– Нету базара, – опять отозвался проводник. – Две минуты стоим.

– Как же так? – изумился пассажир, все еще глядя на девушку.

– Закройте окно! – попросили из вагона капризным голосом.

Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился.

Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.

– Ну, прощай, что ли, – тяжело проговорил он и сунул руки в карманы.

У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо.

– Скучно мне будет, – шептала она. – Пиши почаще-то... Слышишь? Пиши-и... Ведь приедешь?

– Сказано уже, – неохотно и испуганно говорил парень. – Оботри слезы-то... Ну!

– Да я ничего, – шептала девушка, задыхаясь, быстро, по-беличьи отирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. – Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то...

– Я помню, мне что! – хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.

– А мне... Я всю жизнь для тебя... Ты знай это!

– Сказано... – буркнул парень, равнодушно глядя себе под ноги.

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.

– Гражданин, попрошу в вагон, останетесь... – сказал проводник и первым полез торопливо на площадку. Девушка побледнела, схватилась рукою за рот.

– Вася! – закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров: те сразу отвернулись. – Вася! Поцелуй же меня...

– Мне что... – пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки...

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

– Слышь... Не приеду я больше! Слышь...

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще детские губы ее все белели...

– Берегись! – раздался вдруг дикий крик над ее головой.

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завывала по-бабьи, качаясь, будто пьяная:

– Уеха-а-ал!..

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.

– Уехал? – спросил он. – Н-да... Нынче все едут.

Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевков ногой.

– Скоро и я уеду... – забормотал он. – На юг подамся. Тут скука, дожди... А там, на юге-то, теплынь! Эти – как их? – кипарисы...

Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботинки, спросил негромко и равнодушно:

– Вы не из «Красного маяка» будете? А? Н-да... Вон оно что... А погода-то – сволочь. Факт!

И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи.

Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни темного, мокрого леса, ни тускло блестящих рельсов, ни бурой никлой травы... Видела она рябое и грубое лицо парня.

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подавалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стога сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге.

Девушка сидела не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком.

Не красивая

Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист все играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, и на окнах еще висели неугомонные ребята.

Много было выпито и съедено, много пролито слез, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставилась еще водка и закуска, гармониста сменял патефон с фокстротами и танго, топот и присядку – шарканье подошв, и веселье не убывало, все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле и у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в Подворье гуляют.

Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос ее покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, оттого, что никто ее не замечает, что всем весело, все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать.

Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют, и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За два года почти все подруги ее вышли замуж, а у нее за это время еще больше поблекло лицо и похудела спина.

И вот ее, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: «Горько!» – и ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет.

Ее познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и черными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела все, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее выразителен и полон интимной нежности.

Но Николай почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумленно озирался кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся.

Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых, пьяных, потных, презирала и жалела себя.

Недавно она сшила платье, очень хорошее темно-синее платье. Все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и все осталось как было...

Часа в три ночи Соня, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда – на крыльцо.

Избы стояли черные. Деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и топот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей.

У Сони задрожал подбородок. Она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок. Но ее никто не слышал. «Ну, довольно! – говорила себе Соня, крепко

закрывая глаза. – Ну, хватит же! Больше не надо! Нужно идти!» И она хотела идти, откачиваясь от березы, а ноги не держали ее, и идти она не могла.

– Что такое? – громко спросил кто-то сзади.

Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо, не отпуская березы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало, чтобы не упасть, он схватил ее за плечо. Рука его была перепачкана землей.

– А! – пьяно сказал он. – Это вы? А я... на огороде... был. – Он качнулся и прижался к ней. – На свадьбу, сволочь, пригласил! – с усилием выговорил он. – А! Убью! Теперь все! Литром хотел откупиться... Врешь, гад! Меня не купишь!

Николай заскрипел зубами и матерно выругался.

– Вам плохо? – испуганно спросила Соня. – Хотите воды?

– Кого? Мутит меня...

Он оторвался от Сони и пошел за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное.

Потом с мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.

– Вам легче теперь? – тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит ее.

– Малость полегчало... Чего это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю.

– Я редко хожу на гулянки.

– А! Вы при школе живете?

– При школе.

– Провожу, желаете?

Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошел в сени напиться.

– Вы чего плакали-то? – спросил он, вернувшись. – Обидел кто?

У Сони благодарно забилося сердце. Она опустила голову.

– Нет, никто не обидел...

– А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю! – Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой.

Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.

– Послушайте, вы совсем пьяный! – с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

– Ну да! – Николай тер себе рукою лицо. – Какой там пьяный.

Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Николай обидится, осталась.

Николай почему-то опять опьянел, сипло дышал, держал Соню за руку.

– Ну, расскажите же что-нибудь, – попросила она, поднимая к небу бледное в темноте лицо.

– Чего там рассказывать?... – хрипло сказал он, схватил ее, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.

– Пустите! – шептала она, вырываясь. – Пустите!

– Тихо! – говорил он шепотом, толкал ее в темные сени. – Тихо! Чего ты, ну чего ты, дура! В сенях он прижал ее к стене.

– Коля... Успокойся, милый! Боже мой, что же это?

– Любишь меня? – бормотал Николай. – У, собака!

- Не надо, Коля, не надо! – сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил ее. Отдышавшись, он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.
- Ну ладно... – сказал он. – Не сердись! Ты вот что... Ты приходи завтра к риге. Придешь?
- Когда? – спросила шепотом Соня, вся дрожа.
- Часов в семь. Ладно?
- Приду...

– Ага... – Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окуроч, долго притаптывал его каблуком. – Ну, пока!

Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и фальшивой.

Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке, она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое лицо, острые плечи и ключицы. «Боже мой, какая я страшная! – подумала она и вздрогнула. – Надо пить рыбий жир! Обязательно рыбий жир!»

Она полезла в стол и прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве, против ее дома, горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стеклах. Здесь за окном была глухая тьма.

– Это любовь? – спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.

Весь следующий день Соня была сама не своя. С утра пошел было дождь. Диктуя ребятам какой-то отрывок, Соня с испугом смотрела в окно на мокрых кур и лужи. Но дождь прошел, небо очистилось, и к вечеру проезжающие мимо школы автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что вчера один парень провожал ее и сегодня назначил свидание. Письмо получилось большим и веселым. Окончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене.

Она думала, придет Николай или нет, а если придет, то как будет держать себя и что говорить. Еще со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет целовать ее. Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вечернее темно-синее платье, завila немножко волосы и надушилась. Ладони ее потели.

Когда она шла по деревне, ей казалось, что из всех окон на нее смотрят и что все знают, куда и зачем она идет. Ей было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла. Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже, близ дороги, стоял трактор. Замасленный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Соню, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.

Сойдя в ложок, на дне которого не высыхала никогда исследованная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и уйти, не дождавсь ее. Она прибавила шагу, потом побежала.

Она остановилась, когда вдали показалась рига. Никого не было возле риги, и Соня обрадовалась. Она немного передохнула, потом сняла и вытерла травой запыленные туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагретой за день стены шел жар.

Пришел мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали на телегах из города, посматривали в ее сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушел. Несколько раз он насмешливо обернулся. «Он догадался! – со стыдом думала Соня. – Хорошо, что он не из моей школы!»

Она опять спряталась за ригу, сорвала ромашку. Лепестки у ромашки были опущены, она была похожа на ракету. Соня стала отрывать лепестки. «Придет, не придет...» Вышло – не придет. Хуже всего было, что Соня не знала, откуда придет Николай. Она вставала, выходила из-за риги, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась, когда показался Николай. Он шел низом от реки, засунув руки в карманы, в накинута на плечи пиджаке. Подходя, он с напряженным вниманием разглядывал Соню, как человек, что-то забывший и силившийся вспомнить. Лицо его делалось все скучней. Подойдя, он отвел глаза и вяло протянул руку.

– Привет...

– Здравствуйте, – ответила Соня, не смея поднять глаз.

– Давно ждете?

– Нет...

– Гм... Ну, зайдем в холодок.

Они обошли ригу и сели на ворохе соломы лицом к дороге. Солнце заходило, все меркло, тень от риги протянулась через все поле.

– Благополучно вчера дошли? – спросила Соня, быстро взглядывая на Николая и сочувственно, понимающе улыбаясь.

– Нормально... – Николай зевнул и снял пиджак. – Не выспался только.

– Вы вчера были нехороший, – мягко сказала Соня.

– Чего еще! – Николай равнодушно обнял Соню, притянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

– Скоро стемнеет, – заметила Соня, покорно приныкая к Николаю и слыша гулкие удары его сердца.

– Как попозднее, пойдем в горюх, а? – Николай мотнул головой куда-то вправо. – Там шалаш есть. Пойдешь?

– Не надо об этом, Коля, – тихо попросила Соня и вздохнула.

– Эх, – воскликнул вдруг Николай. – Спать охота! Ну-ка, дай прилягу...

Он отодвинулся и лег, разбросав ноги в сапогах, положил голову Соне на колени. Полежав немного с закрытыми глазами, он закинул руку и схватил Соню за бок.

– Чего это ты худая такая?

Соня перестала на минуту дышать.

– Конституция такая, – насильно улыбаясь, сказала она.

– Ну, конституция! Наверно, больная чем-нибудь. Это как скотина: заболела – как ни корми, все одни мосляки.

Соне вдруг стало все безразлично, и она несколько раз сглатывала, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

– Почему вы такой грубый! – вдруг низко сказала она. – Или вы думаете, что со мной все можно?

Она резко отвернулась и стала медленно краснеть.

– Не смейте так говорить со мной! Слышите!

Она закусил нижнюю губу и рукавом крепко вытерла глаза. Потом, по-прежнему напряженно глядя в поле, шевельнула коленями.

– И уходите! Я вам не скотина, снимите голову, слышите! Оставьте меня!

Николай смущенно сел.

– Ну, ну... – забормотал он. – Извиняюсь! Ну вот, знал бы... Не хотел – гад буду! Это по работе – привыкнешь.

– Нет, не по работе, – уже спокойно, грустно сказала Соня и опустила голову. – А потому что...

Она теребила платок, пальцы ее дрожали, лица не было видно.

– Потому что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться!

Николай крепко поскреб в затылке и ничего не сказал.

– Что это вы ругались вчера? – спросила Соня после долгого молчания.

– Так... – Николай нахмурился. – У меня с ним свои счеты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видала вчера невесту? Гулял я с ней...

– Вас, наверное, многие девушки любят, – сказала Соня.

– А! – Николай сморщился, как от кислого, и опять положил голову ей на колени. – Знаю я ихнюю любовь!

– Зачем вы так, Коля? – быстро сказала Соня. – Нужно верить людям! Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди!

Николай поднял голову и сплюнул.

– Вы не верите? – упавшим голосом спросила Соня.

– В чего это?

– В чистоту человека.

Николай засмеялся.

– Ох, и любят же бабы воду мутить! Чистота... – Он поворочался, зевнул и закрыл глаза.

От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жесткого в наступающих сумерках, красивого лица веяло чугуновой силой.

Соня дрожащей рукой стала перебирать волосы Николая, жадно глядела на него, все еще стыдась и краснея.

– Коля!.. Вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая, – сказала она еле слышно.

– Обожди! – Он поднял голову и прислушался. Потом сел, опираясь рукой о ее колени.

По дороге, тихо разговаривая, шли двое.

– Эй! – крикнул Николай.

– Зачем вы, Коля! – шепнула Соня, пряча лицо.

Шедшие остановились.

– Куда это? – опять крикнул Николай.

– На гулянку. А кто это? Никак Николай!

– Он самый. Где гулянка-то?

– В Сосновке.

На дороге закурили и, посвечивая огоньками, пошли дальше. Николай посмотрел им вслед.

– Погодите! – крикнул он вдруг. – И я с вами!

Он торопливо встал, встряхнул пиджак, накиннул на плечи. Потом, кашлянув, протянул руку Соне.

– Ну, пока! Еще когда повидаемся... – Отвернулся и, придерживая пиджак, рысцей стал догонять тех, на дороге.

Совсем стемнело. Сбоку вылутился тонкий месяц, от реки по лугам пополз прозрачный туман. Звуки умирали, один раз только за ригой что-то пробежало: топ-топ-топ...

Соня сидела, привалясь спиной к стене, подняв вверх лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала, полегчает, но не легчало. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела окаменев.

Наконец она встала, держась за стену, постояла немного и пошла домой. Едва отошла она от реки, стало сухо и тепло.

Опять шла она мягкой дорогой, но теперь ей светили звезды. Нежно пахло сеном и придорожной пылью. От сияния Млечного Пути тьмы полной не было, по сторонам виднелись то стога сена, то копейки льна, то светлело необранное поле ржи.

– У-у! – сказала Соня все тем же низким, страшным звуком. – У-у!..

Больше она не могла ничего сказать и ни о чем подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что давеча чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле.

Чуть видна была звездочка его фары, слышен был слабый стрекот мотора. Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров и почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она все-таки женщина, и что, как бы там ни было, у нее есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймет. О! Тупой, тупой дурак – какую силу и прелесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте – одинокая под полыхающими, падающими звездами.

Скоро показалась темная деревня. Многие уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. «А ну! Попробуй укуси!» – задыхаясь от мстительной отваги, подумала Соня и повернулась к ней лицом. Но собака не укусила, только дунула два раза на ноги и побежала в темноту. Соня пошла дальше, и ей стало совсем легко.

Странник

1

Шел по обочине шоссе, глядя вдаль, туда, где над грядой пологих холмов стояли комковатые летние облака. Навстречу ему туго бил ветер, раздувал мягкую, выгоревшую на солнце бородку. На глаза часто набегали слезы, он вытирал их грязным, загрубевшим пальцем, опять, не моргая, смотрел вперед, в слепящее марево. Его обгоняли автомашины, бешено жужжа шинами по асфальту, но он не просил подвезти, упрямо чернел на сером, блестящем посередине от масла шоссе.

Был он молод, высок, немного сутуловат, шагал широко и твердо. Резиновые сапоги, зимняя драная шапка, котомка за плечами, теплое вытертое пальто – все это сидело на нем ловко, не тяготило и не мешало.

Думал ли он о чем-нибудь, шагая мимо деревень, лесов, мимо рек, зеленых полей и бурых паров? Синие его глаза в красных веках не смотрели ни на что внимательно, ни на чем подолгу не останавливались, блуждали по далям, по белым облакам, заволакивались слезами, потом опять бездумно глядели. Звонко стучала по асфальту ореховая, позелененная травой палка. Подкрадывались к шоссе кусты, задумчиво подходили большие старые березы и вновь неслышно уходили, не в силах скрыть великого простора полей.

Солнце перевалило за полдень, стало жарче и суше, ветер нес запах теплого сена, разогретого асфальта, а странник все так же ходко шагал, постукивал палкой, и неизвестно было, куда он идет и сколько еще будет идти.

Наконец он заметил очень далеко справа белую черточку – колокольню. А заметив, скоро свернул на пыльный проселок и пошел уже медленней. Дойдя до чистой глубокой речки, он сел в тени кустов, снял котомку, вынул яйца, хлеб и стал есть. Жевал он медленно, тщательно оглядывая кусок, прежде чем положить в рот. Наевшись, перекрестился, смахнул с бороды и усов крошки, тяжело поднялся, пошел к речке напиться. Напившись и вымыв лицо, он вернулся, забрался еще глубже в кусты, положил котомку под голову, поднял воротник, надвинул на лицо шапку и мгновенно уснул крепким сном сильно уставшего человека.

2

Спал он долго и проснулся, когда солнце село уже за холмы. Протер нагноившиеся глаза и долго зевал, чесался, оглядываясь и не понимая, где он и зачем сюда попал. Опухшее от сна лицо его не выражало ничего, кроме скуки и лени.

По дороге в сторону шоссе проехала машина с бидонами молока. Странник посмотрел вслед машине, лицо его оживилось, он быстро надел котомку, вышел на дорогу, перешел мосток над речкой и пошел к деревне, замеченной им еще днем.

Справа начались сочно-зеленые темнеющие овсы, потом потянулся двойной рядок елок. Солнце скрылось, оставив после себя узкую кровавую полосу заката. Эта полоса светилась сквозь черный ельник, и смотреть на это свечение и одновременно черноту было жутко. Странник заспешил, поднимая сапогами пыль. Он боялся темноты и не любил ночи.

А запахи пошли теперь другие. Пахло похолодевшей травой, пылью на дороге, томиительно благоухали донник и медовый тысячелистник, от елок шел крепкий смолистый дух. Небо было чисто и глубоко, потемнело, будто задумалось, и ясно был виден слева молочно-белый молодой месяц.

Дорога стала петлять лесом, оврагами. Странник шел все торопливее, шевелил ноздрями, втягивал воздух по-звериному, часто оглядывался. Раза два он попробовал затянуть песню, но скоро смолкал, подавленный сумеречной тишиной.

Наконец запахло жильем, попалась поскотина, он пошел спокойнее, зорко глядя вперед. Скоро разбежались, остались сзади кусты и деревья, и он увидел большую деревню с речкой внизу и церковью на горке. Весь низ у реки был занят скотными дворами и там, несмотря на подкравшуюся темноту, чувствовалась еще жизнь, как чувствуется она вечером в улье с пчелами.

Уже дойдя почти до гумна, странник заметил вдруг идущую снизу, от скотных дворов к деревне, женщину и остановился, поджидая. Когда женщина подошла, странник сдернул с головы шапку, поклонился низким поклоном и, кланяясь, пытливо поглядел ей в лицо.

– Здравствуй, мать! Храни тебя Господь, – сказал он глухо и важно.

– И вы здравствуйте, – помедлив, отозвалась она, поправила платок, облизала сухие губы.

– Здешняя?

– Я-то? Здешняя... А вы чей будете?

– Дальний я. Хожу по святым местам. Странник, значит.

Женщина с любопытством оглядела его, хотела спросить что-то, но застеснялась, тихо тронулась дальше. Странник пошел рядом с ней, сохраняя на лице твердость и важность.

– Церковь работает? – спросил он, вглядываясь в золотисто-розовый крест колокольни.

– Церква-то? Где ж работать! Не служат... МТС в ней теперича. Батюшка был, да дюже старый, помер годов уж двадцать.

– В безверии, значит?

Женщина смутилась, снова поправила платок, вздохнула, опустил глаза. Странник искоса глянул на нее. Была она не стара еще, но с темным, заветренным лицом и такими же темными руками. Сквозь выгоревшую старую кофту проступали худые плечи, и почти не выделялись плоские груди.

– Где уж! – сокрушенно сказала она. – Молодежь-то нонче, знаешь какая, не верит. Ну, а у нас тоже работа круглый год да свое хозяйство, ни до чего. Батюшка когда наезжает, молебен на кладбище отслужим, вот и вся наша вера...

– Так... – протянул печально странник. – Эх, люди, люди! Сердце мое болит, глаза бы не глядели на житье ваше! Сами себе яму роете...

Женщина грустно молчала. Улица была темна, только в пруду стекленела вода, плавали вдоль осоки две припозднившиеся утки, жадно глотали ряску, торопясь наестся на ночь.

– Есть тут хоть кто верующий, божьему человеку приют дать? – с тоской спросил странник.

– Это переночевать, значит? Да что ж, хоть у меня ночуйте, места не пролежите.

Больше до самого дома ни странник, ни женщина не сказали ни слова. Только отпирая дверь, она спросила:

– Звать-то вас как?

– Иоанн! – по-прежнему важно и твердо сказал странник.

Женщина вздохнула, думая, быть может, о грехах своих, открыла дверь, и они вошли в темные пахучие сени, а оттуда – в избу.

– Раздевайтесь, отдохните... – сказала хозяйка и вышла.

Иоанн снял котомку, пальто, стал разуваться. Долго с печальным лицом нюхал портянки, чесал большие набрякшие ступни, осматривался.

Когда снова вошла хозяйка, Иоанн сидел уже в одной рубашке, копался в котомке. Он вынул оттуда Евангелие, толстую тетрадь с надписью «Поминальница святого Иоанна» и большим крестом на обложке, пошарив, нашел огрызок карандаша, раскрыл тетрадь, подумав, спросил строго:

– Была в сем доме смерть?

Хозяйка вздрогнула, повернулась, пристально посмотрела на странного бородатого человека.

– Была, – негромко сказала она. – По весне сынок у меня помер. Шофером он работал в колхозе, через реку стал переезжать...

– Имя! – сурово остановил ее странник.

– Чего? – не поняла она.

– Имя, имя! Сына имя, – раздраженно прикрикнул он на нее.

– Сыночка-то? Федей звали... Говорили ему, погоди, не ездей, не погниют твои товары – части какие-то для МТС вез, – стороной объезжай, через мост, лед ведь сейчас тронется... Не послушал, горячий был... Утоп... Сыночек-то – утоп...

– Буду молиться! – перебил ее Иоанн, выписывая в тетради крупно: «Федор». – Тебя как звать?

– Настасья...

– Так... Настасья. Одна живешь?

– Вдвоем. С дочкой. Не дочка она мне, женка Федина, да я уж с ней...

– Муж был?

– Был, как не быть... На фронте погиб, в сорок втором...

– Имя?

– Михаилом звали...

– Так... – Иоанн помолчал. – Невестку как звать?

– Люба... Любовь, значит.

– Знаю, – сказал странник, записывая. – Хорошая?

– Это как же? – не поняла Настасья.

– Поведения хорошего? В Бога верует?

– Нет... В Бога не верует, комсомолка, а так не согрешу – хорошая. Зоотехникум кончила, работает, значит, на ферме, да еще завклубом ее поставили. Клуб у нас, так она в нем еще вечерами. Устает – день там, вечер там, да я и не перечу, конечно, скука одной-то, молодая, годочек только и прожили... Сынок-то, Феденька... Из армии пришел, мамуня, говорит... Мамуня...

Настасья сморщилась, сухие губы ее затряслись, по темным худым щекам покатались слезы. Странник сурово молчал.

– Садитесь, повечеряйте... – сквозь слезы сказала Настасья. – Самовар сейчас вздую...

– Иконы есть?

– Есть... Жены-мироносицы, Троеручица Божья Матерь...

– Где? Проводи.

– Вон на той половине, пойдемте...

Она отворила дверь в чистую горницу. Иоанн со скучным лицом, тяжело ступая по половикам, пошел за ней, захватив «Поминальницу».

– Выйди, – сказал он, увидев иконы. – Молиться буду.

Со стуком опустился на колени, задрал бородку. Настасья тихонько вышла.

– Господи! – глубоким голосом воскликнул Иоанн. – Господи!

И замолк, засмотрелся в окно на неподвижные яблони.

Настасья собирала на стол, звякала посудой. Эти тихие звуки, эти долгие летние сумерки были странно приятны ему, сладко трогали сердце. Сколько деревень он повидал, где только не ночевал! Все было разное везде: люди, обычаи, говор... И только сумерки, запахи жилья, хлеба, звуки везде были одинаковые.

Смотрел Иоанн в окно, вытягивал шею: внизу, за огородами, – река, за рекой – поля, лес... Из лесу выполз уже туман, покрыл луга молочными прядями, скатывался потихоньку вниз, к реке.

– Господи! – вздыхал Иоанн и снова слушал тихое звяканье посуды, смотрел в окно, в дали.

Настасья осторожно заглянула в горницу, увидела лохматую, давно не стриженную голову, темную шею, широкие твердые лопатки, большие ступни подвернутых ног.

Но странник не шевельнулся, не ответил, думал о чем-то, упираясь длинными руками в пол. Настасья ушла, поставила на крыльце самовар, стала доить корову.

А странник услышал через минуту в сенях легкие шаги, подумал торопливо: «Девка!» – настороженно повернул голову. Стукнула дверь, на пороге горницы шаги замерли. Иоанн задрал бородку, широко перекрестился, глядя в темные лики икон: знал, что пришедшая изумленно смотрит на него.

Молчание. Потом шаги быстро застучали обратно в сени. Иоанн вскочил, беззвучно подошел к двери, приложился бурым ухом.

– Мама!

– Чего ты? – Равномерное цвирканье молока по ведру прекратилось.

– Мама, что это за человек у нас?

– Так... Проходящий какой-то. Странник, веру ищет, ночевать попросился.

– Странник? Старый?

– С бородой, а так не дуже... Глаза у него молодые.

– Проходимец, может, какой-нибудь?

– Что ты, Христос с тобой! Человек божественный, молящий...

Молчание. Только слабо похрюкивает поросенок. Опять послышались равномерно-быстрые тугие звуки молока по ведру.

– Поросенка кормили?

– Не, не поспела еще. Там я намешала ему, за печью...

– Я покормлю.

Иоанн тенью метнулся от дверей в горницу, припал на колени, задрал бородку. «Стерва! – злобно думал он. – Выгонит еще, поночевать не даст!»

А в избе слышались тихие хозяйственные звуки, тьма скоплась по углам, уже ничего нельзя было разобрать – ни ликов икон, ни фотокарточек, ни почетных грамот, – все пропадало в темноте, все становилось волнующе-таинственным, вошли в избу лесные тени. Когда стало совсем темно, а месяц над лесом побелел и стал осторожно заглядывать в окна, внесли горящую яркую лампу, зашумел самовар на столе, странник вышел из горницы, сунул в котомку Евангелие с «Поминальницей», сел на лавку, шурясь, стал следить за Любой.

3

Сели ужинать. Ел странник жадно и много, громко глотая, шевеля бородой и ушами.

– Кушайте, кушайте... – говорила Настасья, подвигая к нему еду.

А он, поднимая воспаленные синие глаза от тарелки, каждый раз взглядывал на Любу, и та, чувствуя его взгляд, розовея скулами, нервничала, подрагивала бровью. Была она красива неяркой смуглой красотой, осталось в ней что-то от девушки – угловатость движений, неуловимая бегучесть глаз, робкая грудь...

Поглядывал на нее странник, нравилась она чем-то ему, и начинал он уже думать, что хорошо бы обрить бороду, жениться на такой девке, работать по хозяйству, спать с ней на сеновале, целовать ее до третьих петухов... От таких мыслей взбухало сердце, звенело в голове.

– Кушайте, не стесняйтесь... – просила его Настасья. – Вот грибочков попробуйте, нонче рано грибочки пошли.

Наевшись, Иоанн перекрестился, привычно поклонился хозяйке и Любе, отодвинулся от стола, хотел рыгнуть, но застеснялся, стерпел, стал свертывать папиросу, рассыпая на колени табак и подбирая его.

– Курю вот, – сожалеюще сказал он. – Курю... Бес искушает, сколько разов уже каялся, епитимью накладывал – не могу...

Люба вдруг засмеялась, отворачиваясь, отошла к печке. Настасья засуетилась, приподнялась, умоляюще глядя на странника.

– Чего ты, ну чего ты! Сбесилась ай нет?

Люба молчала; прикрывая глаза ресницами, сдерживала смех.

– Да, – повышая голос, сказал странник. – Умны многие стали, не верят, а бес-то тут как тут... Мельтешат все, жизнь суетливая стала, мыслей настоящих нету, машина все... Съела человека машина! В Апокалипсисе об этом прямо сказано.

Люба, усмехаясь, уже открыто смотрела на него.

– Что смотришь? – спросил грубо Иоанн, ощущая в груди веселую злость к ней. – Или не нравлюсь? Не видала таких-то? Может, жалеешь, что за стол сел?

– Чтой-то вы, Бог с вами! – испугалась Настасья.

– Стола мне не жалко, избы тоже... – звонко сказала Люба. – Мамино это дело. А если уж прямо говорить... Смешно, конечно. Что вы ходите? Не стыдно вам? Бороду вот отрастили... Думаете, от бороды святости прибавится? Честное слово, прямо как в самодеятельности у нас!

– А ты не пошла бы?

– Я? Нет, я работу люблю.

– Работу... – Странник засопел, стал смотреть в угол. – Глупая ты девка. В чем ваша работа? В Бога не верите, а Он есть и пребудет вовек! Работа... Эх, вы-ы! Я вот хожу, смотрю...

– Смотреть легко, – небрежно вставила Люба.

– Я вот хожу, смотрю, – продолжал странник громче. – Что вы делаете? Как живете? Лучше ль стало на земле жить? Хуже! Истинно тебе говорю – хуже! Воров стало больше, разврату больше. Евангелие святое читаю... Вот она, книга-то! – Он похлопал рукой по котомке. – Этого в техникумах да в институтах ваших нету... Нету!

– И не надо... – зевая, сказала вдруг Люба. – Без этого обходимся. Что-то устала я, пойду лягу... Спасибо, мама.

Она отошла от печки, взяла что-то в комод, прошла мимо, обдав странника запахом здорового чистого женского тела, вышла в сени, стукнув дверью.

– Гордая девка, – перехваченным голосом сказал странник и усмехнулся. – Хара-актер!

– Что ж, молодые они, – примирительно отозвалась Настасья, убирая со стола. – Понятия другие. Смелые они теперь... Вы не обижайтесь. Жизнь-то у нее не легкая. Молодая, красивая, а... вдова.

– Н-да-а, – обронил задумчиво странник. – Господь, значит, рассудил так. Я вот тоже не думал странником стать. Конечно, интерес к жизни у меня, с другой стороны, был. Псковской я сам, из деревни Подсосонье, не слыхала? Родителей моих в войну побил, царство им небесное, остался я один, как быть? Туда-сюда мыкался, работал, поля разминировал, взорвалась одна мина, ранила меня в живот, под самый дых, еле жив остался, инвалидом стал... Ну а что инвалиду? Работенку, может, какую легкую? Да образования нету, долго учиться, ежели на инженера там или агронома. Плохо мне стало в колхозе, скучно, душа у меня ненасытимая, – и потянуло меня в дальние дали. Стал я к Богу припадать, раньше-то тоже не верил... Старичок у нас в колхозе был – молоковозом работал, – боже-ественный старичок. Он меня всему наставил, стал по книгам читать – так на так все выходит. «Иди, сын мой, – это он, значит, мне говорит. – Иди, говорит, во святые места, молись, спасай нас всех от гибели и сам спасайся».

Я и пошел, да вот уж пятый год хожу. Мно-ого народу ходит, люди всё чистые, святые. Легко мне теперь, стою к Богу близко и с дороги своей уж теперь не сойду. Нет, не сойду!

– А теперь далеко ли идете? – сонным голосом спросила Настасья.

– Да вот завтра хочу до Борисова дойти, к Животворящему Кресту приложиться. Много я наслышан про него. А где я только не был! В Киеве при монастырях жил, подаванием кормился, во святой Киево-Печерской лавре был, место дивное. Молящихся много... И в Троице-Сергиевой побывал, в Эстонию даже заходил, на Ветлуге был – ну, там народ хмурый, беспоповцы, сектанты, не люблю я их, не подают, паразиты...

«А ведь она в сенях легла!» – внезапно подумал он о Любе, и сердце его сладко заняло.

– Эх, мамаша! – весело и горячо заговорил он, возбуждаясь от того, что так все хорошо складывается: и хозяйка попалась верующая, и молодая вдова одна в сенях спит. – Ах, мамаша! Много я по свету исходил, а если сказать по душе, как перед Господом истинным, – нету стороны лучше русской! Идешь ты по ней, жаворонок звенит, вот трепещется, вот трепещется, тут тебе донник цветет, ромашка на тебя смотрит, тут люди хорошие попадут, расспросят, ночевать позовут, накормят... А то лесами идешь – духовитые леса у нас, шмели жундят, осинки чего-то лопочут, – вот хорошо-то, вот сладко! Нету над тобой начальства, нет законов никаких, встал – пошел. Что мне люди? Кто такие? Да и память у меня плохая, забываю всех, никого не помню... Нет, совсем не помню. Я вот переспал у кого, встану, Богу помолюсь, хозяину поклонюсь – и дальше. А есть которые и не пускают: жулик, говорят. Обидно мне это, Бог с ними, обидно! Только много еще добрых людей, верующих, адреса дают, зовут: жи-ви-и! Да не хочу я на одном месте жить, тянет меня все, сосет чего-то... Особо по весне. Нет, не могу!

Странник задумался, замолчал, упершись руками в лавку. Хозяйка стала засыпать, кланялась, вздрагивала, моргала... Четко шли часы в горнице, тихо было.

– Спать чегой-то клонит, – сказала виновато Настасья и зевнула. – Завтра вставать чуть свет...

Она с усилием поднялась и, разбирая широкую деревянную кровать, проговорила немного смущенно, будто сама над собой посмеиваясь:

– Дояркой я теперь на скотном, первая я по району-то, обязательство еще взяла... Ложитесь-ка с Богом, тоже устали небось.

– Да нет, уж я на полу как-нибудь... Постелешь чего-нибудь, и ладно... – притворно забормотал странник, жадно глядя на кровать с периной.

– Ложитесь-ложитесь, и не думайте! Я не сплю на ней, не люблю, широко очень... Люба когда поспит, а я все на печке. Ложитесь!

– Ну ладно, спаси Христос, – с видимой неохотой и тайной радостью сказал Иоанн и стал раздеваться.

Настасья походила еще немного, что-то переставляла, убирала, мелькала на стенах большой сонной тенью. На потолке, потревоженные, начали гудеть мухи. Потом Настасья подошла к столу, щурясь, задула лампу, и в избе стало темно.

4

«В сенях ли легла?» – думал о Любе странник, томясь от сильного желания. Ему не лежало, он ворочался, смотрел на лунные пятна света, наконец встал, белея в темноте нижней длинной рубахой.

– На двор забыл сходить... – пробормотал он, нащаривая ручку двери. Вышел в черные сени, постоял секунду, привыкая к темноте, прислушался, услышал сонное дыхание Любы.

«Здесь!» – подумал радостно и, пройдя сенями, открыл засов, вышел на крыльцо.

В деревне было темно, тихо, кое-где в избах не спали, горел огонь. Далеко где-то разговаривали, смеялись; луна светила в полную силу, но стояла еще низко, резкая тень избы

тянулась далеко за дорогу. Мерцали не крупные звезды, холодило, в поле стрекотал трактор, но в какой стороне – не понять было. Голоса и смех все приближались, стали видны слабые огоньки папирос. Странник продрог, опять тихо прошел сеньями, вошел в избу, дверь за собой не прикрыл. «Подожду еще, пусть хозяйка крепче заснет, тогда уж...» – подумал он, ложась и закрывая глаза.

За окнами послышались тихие голоса, негромко вякнула гармошка. Потом несмело постучали в окно. Вытянув шею, Иоанн увидел за окном две девичьи фигуры. Опять забарабанили в стекло – виновато и тихо. В избе крепко спали – никто не шевелился.

– Ну что? – спросил за окном мужской голос. – Спит? А ну, давай погромче...

Парень сильно загрохал в раму кулаком, потом прыснул, отскочил от окна. «Черти их принесли!» – с досадой подумал Иоанн.

В сених затопали босые ноги, в избу нетвердо вошла Люба в одной сорочке, растворила окно.

– Чего вам? – сердито спросила она.

– Любушка, – просительно заговорил девичий голос. – А мы думали, ты не спишь...

За углом засмеялись.

– Верно думали... Дай ключ, в клубе потанцевать...

– Дай, Любушка, – подхватила весело и жалостливо другая. – А то совсем засохли, лето, а ни кино, ничего не видим...

– Не дам! – строго сказала Люба. – Спать ступайте!

Странник не шевелился. Затаив дыхание, смотрел на ее фигуру, освещенную луной, на крепкие руки и плечи, на грудь.

– Ни кино не видим, ни самодеятельности никакой... – продолжал уже обиженно второй голос.

– Любушка, мы на часок, – просительно ввернула первая. – Время-то – рано!

– Какой рано! Светать скоро будет!

– Где светать, где светать! – жарко отозвались за окном. – Коля, Коля, скажи, какой час?

– Без двадцати одиннадцать, – сиповато сказал кто-то за углом и засмеялся.

– Не дам ключа! – твердо сказала Люба. – Председатель не велел. Сегодня на правлении вопрос ставили. До утра танцуете, а потом на работу не подымешь. Спать надо!

Люба закрыла окно, мелькая белыми икрами, ушла опять в сени. Девушки пошептались о чем-то, отошли.

– Не дала? – врасстяжку спросил кто-то за углом. – Тут-то она ему и сказала: за мной, мальчик, не гонись...

Заиграла гармошка, и надтреснутый голос фальцетом вывел томительный куплет частушки. Потом голоса рассыпались, отдалились, стало очень тихо. Во дворе три раза прокричал петух. Странник сел на кровати, свернул папиросу, осторожно закурил в кулак, роняя искры на пол. Докурив и пригасив окурочек в цветочном горшке, он подождал немного, встал, подошел неслышно к печке, потолкал Настасью, послушал: та тихонько посвистывала носом.

Тогда Иоанн решительно вышел в сени, крепко притворил за собой дверь и, чувствуя холод и дрожь в животе и ногах, вытянул руки, медленно двинулся к тому месту, где спала Люба.

Нашупав постель, он прилег с краю, сдернул тонкое одеяло, скользнул руками под сорочку и всосался в губы. Люба проснулась, вздрогнула, вывернула лицо из-под бороды, ударила странника в грудь и вскрикнула. Иоанн навалился на нее всем телом, зажал рот рукой и зашептал:

– Что ты, что ты, я это... Не бойся, я это...

– Пусти, бродяга! Богомолец чертов, пусти! – невнятно сказала Люба и, вырвавшись, села, зажав рубашку в коленях.

– Погоди... Женюсь на тебе, не шуми ты, послушай, что говорю... – зашептал он. – Женюсь, хоть завтра... Бороду сбрею, в колхозе буду работать... В баню схожу, – добавил он, вспомнив, что давно не мылся в бане. – Иди ко мне, приласкаю...

– Мама! – крикнула Люба, соскакивая с постели и прижимаясь к стене. – Отойдешь ты от меня, черт поганый? – старалась она за грубостью скрыть свой ужас перед ним.

– Я тебя любить буду! – тоскливо шептал странник, чувствуя уже, что ничего не выйдет. – Я здоровый, молодой – сила во мне мужская кипит... Бороду хоть сейчас сбрею! Ты подумай, ребят-то нынче в колхозах совсем нет, пропадешь или за вдовца выйдешь, на детей... Иди сюда, ну! Хочешь, в землю поклонюсь?

– Мама! – опять крикнула Люба. – Да что же это!

В избе послышался шорох.

– Тише ты! – шикнул на нее странник. – Ухожу, ухожу, будь ты проклята, ведьма, сатана...

Он поднялся, нашарил дверь, покачиваясь, вошел в светлую от луны избу.

– Ктой-то? – окликнула его с печи хозяйка сонным голосом. – А? Ктой-то?

Странник молча лег на кровать, трясся весь, скрипел зубами, на глазах у него выступили слезы от обиды и разочарования.

Хозяйка пошевелилась на печи и затихла – тихонько захрапела.

– Сука! – шептал странник. – Сука! Сволочь, распалила, а?

В сенях что-то стукнуло, покатилося, загремело; послышались шаги на потолке; потом опять заскрипело что-то и стихло.

– На избу полезла, стерва, – злобно шептал странник. – И лестницу затащила... Ну и черт с тобой, будь ты, анафема, проклята!

Он опять закурил, на этот раз не скрываясь, матерясь шепотом. Время тянулось, лунный свет переместился, начало светать, а странник все никак не мог заснуть, ворочался на мягкой перине.

5

Разбудил его утром петух – кричал заливисто под окном.

Умываться он не стал, позевал, поскреб голову, долго сидел неподвижно, пытаясь вспомнить, что ему снилось, но так и не вспомнил. Солнце напекло, в избе было душно, пахло кислым, летали мухи – все стало обычным, надоевшим, вчерашняя таинственность исчезла. Иоанн оделся, сел у окна, закурил и задумался.

Громко стукнув дверью, в избу вошла Настасья, хмуро и странно глянула на Иоанна, подошла к печке, взяла ухват, загремела заслонкой, наклоняясь, проворно и зло двигая острыми локтями. «Рассказала про меня девка-то... – догадался Иоанн. – Эх!.. Теперь не покормит. Видать, уходить надо».

Он встал, медленно, с нарочито-печальным, покаянным лицом надел пальто, взял котомку. Опершись на ухват, Настасья молча смотрела на него, в нитку сжав губы. У порога странник, вдруг повеселев, сдерживая улыбку, низко, как и в первый раз, поклонился.

– Ну, спаси Христос, – сурово сказал он. – Спаси тебя Бог и помилуй... А я помолюсь за всех за вас!

– У, кобель красноглазый! – быстро сказала Настасья, заливаясь пятнистым румянцем и отворачиваясь.

Странник надел шапку и вышел на крыльцо.

Как всегда, когда он уходил откуда-нибудь, ему становилось все веселее, веселее – дорога звала его, и забывалось и меркло вчерашнее. «День да ночь – сутки прочь!» – радостно думал он, спускаясь огородами к реке. У реки он скоро отыскал и перешел брод, поднялся на боль-

шой пологий холм и вошел в лес, из которого вчера вечером сползали к реке молочные пряди тумана. В лесу, поплутав немного, странник вышел на дорогу и пошел по ней на запад.

Куда выведет его эта дорога, он не знал. Но было у него снова легко и радостно на душе, опять он шел спорой походкой человека, привыкшего много ходить, шуршал палкой по траве и кустам, постукивал ею по деревьям, тихонько напевал что-то веселое. И только воспоминание о ночной неудаче и слабая тоска по чему-то незнакомому, которую он почувствовал вчера, стоя на коленях в темной горнице, иногда слабо покалывали его сердце.

Так шел он весь день, а вечером попросился ночевать в далекой деревне.

Дом под кручей

1

Блохин приехал в районный город вечером. Вылез из машины у здания райкома, оглянулся: шел редкий снег, фонари не горели, темная улица была перечерчена длинными желтыми полосами света из окон.

Спросив у прохожего о гостинице, Блохин по узкому переулку спустился вниз, долго ходил среди приземистых строений, похожих на баржи, наконец нашел гостиницу и постучал. Кто-то спустился по лестнице, но дверь не открыл. На вопрос Блохина о койке, подумав, ответил:

– Ничего нету.

– А где же переночевать? – сердито спросил Блохин, глядя на слабо блестящую старинную медную ручку. – Да вы откройте!

Ответа не последовало. Тот, за дверью, полез вверх, лестница под ним скрипела, и Блохин подумал со злобой, что это, должно быть, очень грузный человек.

Отойдя от гостиницы, Блохин смахнул снег с тумбы, присел, размышляя о своем положении. В этот городок приехал он из Москвы, ездил же он вообще редко и поэтому в дороге почти не спал, а все волновался, радуясь тому, что поехал так далеко, и думая о том, как устроится и как будет жить на месте. От областного города нужно было ехать еще семьдесят верст на машине. Блохин полдня бродил возле вокзала, отыскивая попутную машину, наконец нашел и приехал на место. Теперь он устал, отчаялся и не знал, что делать и куда пойти. У него начали уже зябнуть ноги, когда он решился окликнуть проходившую мимо девушку. Та молча и задумчиво выслушала Блохина и повела его темными переулками с засыпанным снегом домиками по сторонам опять вверх.

Скоро они очутились в теплом и светлом Доме культуры. Было шумно. В коридоре возились ребята, поглядывали в двери. Наверху громко и фальшиво играл духовой оркестр. Девушка скрылась в одной из комнат, и спустя минуту в коридор вышел купец с красивой бородкой и большой цепью через грудь. Ребята сразу затихли, с восторгом уставились на купца.

– Вам комнату? – спросил купец молодым голосом и, морщась, стал оттирать бородку. – Вы чуть подождите, сейчас я вас провожу.

Отодрав бородку, он погрозил ребятам кулаком, ушел, а через пять минут вышел уже в пальто, оказавшись молодым румяным парнем.

– Пойдемте! – весело сказал парень и с облегчением вздохнул, а Блохин вдруг решил, что городок этот странный и веселый и что жить здесь, должно быть, просто.

Парень вел его мимо деревянных заборов и каменных оград, мимо чайной, возле которой на рассыпанном сене стояли заиндевевшие лошади, мимо белых домов с черными окнами, скрипел валенками по снегу и рассказывал:

– Дом внизу стоит, у самой реки, и комнатка ничего, жить можно и все такое, хозяйка только не хороша...

– А что? – спросил Блохин.

– Да так... Вы ведь, наверно, ненадолго? Это у меня там с ней дело одно вышло... А вам что! Деньги платите да не трогайте ее, и все...

– А комната отдельная?

– Отдельная. Вы что, к нам в командировку?

– На практику.

– На практику? Случайно, не в Дом культуры?

– Нет, в библиотеку...

– А-а... Жалко. А то бы можно такие дела развернуть... Чемодан-то тяжелый? Давайте я понесу.

– Ничего, спасибо. В этом доме-то, кроме хозяйки, есть еще кто-нибудь?

– Дочка.

– Да? Интересно... И молодая?

– Дочка-то? – Парень помолчал. – Молодая... Совсем молодая.

«Вон оно что! – подумал Блохин. – Молодая девушка. Наверное, пробовал ухаживать, да неудачно?» И ему стало очень любопытно и весело от мысли, что он идет в дом, где живет молодая девушка.

Спустились в овраг, прошли мимо редких черных деревьев, свернули налево и пошли под обрывом. Справа попадались баньки, дома с закрытыми ставнями, сквозь которые кое-где пробивался свет. За домами скорее угадывалось, чем виднелось, близкое, большое и смутное пространство занесенной снегом реки.

– Это у нас улица Оползино, – объяснял парень. – Берега здесь оползают, а люди живут... Ставнями запираются. Как чуть стемнеет, так и запираются. Народ! У каждого свой колодец – кулугуры, черти! У стариков в сараях гробы да кресты стоят – это они после смерти опоганиться боятся, в своих хотят в могилу лечь и под своим крестом...

– Интересно! – изумился Блохин.

– Кому интересно, а кому... – буркнул парень. Он подвел Блохина к большому дому с высоким крыльцом. Одна половина дома была темной, на другой мягко сияли окна, освещающая низкий забор со снежными шапками на столбах.

– Ну вот, смотрите. А я пошел. Ежели что не так, заходите в Дом культуры, поможем. И вообще заходите, спросите Колю Балаева, меня там все знают.

Он негромко засвистел и пропал в темноте, только свист долго был слышен. Приглядевшись, Блохин увидел метлу на крыльце, обил снег и постучал.

Дверь ему открыла девушка в халате с подвернутыми лапами и засученными рукавами. Она тяжело дышала, руки у нее были запачканы, прядь волос прилипла к щеке. Увидев Блохина, девушка задержала дыхание, торопливо одернула халат, поправила плечом волосы, пропустила его на кухню и почему-то очень долго запирала дверь.

– Поговорите с мамой, – задрожавшим голосом перебила она Блохина, когда тот стал объясняться, покраснела и быстро ушла в комнату.

Вышла мать ее, худая женщина с тонкими поджатыми губами и убитым выражением лица. Было похоже, будто минуту назад с ней случилось несчастье.

– Комнату? Комнату сдаем... Посмотрите. – Она открыла застекленную дверь и зажгла свет. – Комната у нас хорошая, замечательная... Чистая комната. Вы один или семейный?

– Один.

– Прошлый год профессор жил. Два инженера жили. Комната хорошая, теплая...

Комната была холодная, пустая, с крепким застоявшимся запахом. Блохин поморщился.

– Вы как же... надолго приехали? – настороженно спросила хозяйка.

– На месяц, – сухо ответил Блохин, чувствуя растущую неприязнь к хозяйке и думая о девушке, открывшей ему дверь.

– А комната у меня замечательная, тихая. Как на даче будете жить.

– Сколько же вы берете?

– Да вот профессор жил, так двести рублей платил. Да и то дома почти не бывал.

– Двести? – переспросил Блохин и нахмурился: это было дорого.

– Да еще с его дровами, – заторопилась хозяйка. – Ведь вы топить не будете? Топить, значит, мне нужно. А дрова копеечку стоят. Времена нынче плохие.

Блохину делалось все более неприятно. Но после дороги так хотелось согреться, обрести хоть какое-нибудь место, да и выбирать было не из чего, и Блохин согласился. «Что мне, в конце концов, до хозяйки! – подумалось ему. – Она сама по себе, я сам по себе... Да и не век мне здесь жить!»

– Ну хорошо! – сказал он. За стеной тотчас что-то свалилось.

– Вы, может, погуляете, пока я комнату приготовлю? – спросила хозяйка, прислушиваясь к тому, что делалось за стеной.

Блохин с легким сердцем вышел на улицу, закурил. Идти ему никуда не хотелось, он спустился вниз, встал на берегу реки и задумался.

Было Блохину двадцать шесть лет. Он кончал институт и все чаще подумывал о женитьбе, но без любви женитьбы себе не представлял, а полюбить все как-то не приходилось, и это в последнее время всерьез беспокоило и даже угнетало его. Ему, как и многим вообще, почему-то казалось, что в своем городе, в своем институте – одним словом, дома – ничего необыкновенного произойти не может. Дома было все привычным и обыденным. А необыкновенное было где-то далеко, поэтому он любил дальние поездки и каждый раз, собираясь в дорогу, был почти уверен, что с ним произойдет что-то радостное, кто-нибудь полюбит его... Он ездил, и с ним не случалось ничего, но вера его в счастливый случай не пропадала.

Сейчас, глядя на снежный простор широкой реки, похожей на поле, он задумался о девушке, которая так смутилась, открыв ему дверь. И чем больше думал он о ней, тем больше волновался. Может быть, это вот и есть тот долгожданный случай, то необыкновенное счастье, о котором он мечтал? Кто она? Как жила и как будет жить? Он старался вспомнить, какие у нее губы и глаза, какое лицо, но вспомнить ничего не мог, только чувствовал, что она хороша и что ее смущение может многое означать...

– Хорошо! – громко сказал Блохин и оглянулся. Дом сиял мягким светом окон... После Москвы здесь казалось необыкновенно тихо и таинственно. У Блохина стало весело и горячо на душе. Он докурил папиросу, щелчком подбросил ее вверх. Папироса упала в снег, но не погасла, и то место, куда она упала, долго светило в темноте нежно-розовым пятном.

«Пожалуй, пора!» – подумал Блохин и пошел назад к дому, улыбаясь в темноте и с удовольствием прислушиваясь к скрипу снега под ногами.

2

Пол в комнате был уже вымыт, у стены стояла узкая железная кровать с серой сальной подушкой. Вошла хозяйка. Она тревожно поглядывала на Блохина, часто поворачивала бледное лицо к стене, и тогда казалось, что она видит все, что делается за стеной.

– Вам и белье давать? – спросила она.

– Конечно, – сердито ответил Блохин, поднимая брови и стараясь, чтобы хозяйка заметила его недовольное удивление; неприязнь его к ней росла с каждой минутой.

Белье было постелено, на столе появилась скатерть. Блохин успокоился, раскрыл чемодан, разложил вещи, вынул книгу и стал читать. Но ему внезапно стало скучно, не читалось, хотелось крепкого горячего чаю из тонкого стакана, хотелось с кем-нибудь поговорить.

Он отложил книгу, облокотился, стал смотреть в темное мокрое окно, слушая, как в печке потрескивают дрова, думая о том, что только вчера он ходил в Москве по Арбату, а теперь сидит в чужом доме, у незнакомых людей, которые равнодушны к нему, к его прошлому, его занятиям и которые, быть может, никогда не вспомнят о нем, когда он отсюда уедет.

От этих мыслей Блохину стало тяжело, грустно. Он подумал было лечь спать, но спать не хотелось. Тогда он встал, походил по комнате, потрогал печку, прислушался и вышел на кухню.

Девушка переоделась в темное платье, сидела за столом и вышивала. Увидев Блохина, она вспыхнула, шевельнулась, будто хотела встать и уйти, но не ушла, только еще ниже опустила голову. Блохин огляделся, присел к столу и спросил, понизив голос:

– А где ваша мама?

– Она поросенка кормит.

Голос ее был тих и нежен, ответила она помедлив, словно не сразу поняла вопрос. Золотистые волосы ее слегка вились возле висков, завитки их спускались на лоб, и всю эту слабо сиявшую глянцевитую массу волос прорезал чистый и ровный пробор.

«Сколько ей лет? – размышлял Блохин. – Восемнадцать? Деятнадцать?» Он смотрел на завитки волос, на пробор, на тонкую шею, жалел, что ему не двадцать лет, что он некрасив, и ощущал в груди томительную печаль. Ему хотелось сидеть и без конца смотреть на нее. «Еще влюбишься здесь!» – подумал он вдруг невесело.

– Вы что же, работаете, учитесь? – снова спросил он.

Девушка подняла голову. Блохин увидел мелкие бледные веснушки на носу и лбу, очень маленький алый рот и чистые прозрачные глаза, и в глазах этих был свой, далекий ему мир, своя жизнь, незнакомая ему и недоступная сейчас для него.

– Работаю, – нежно и доверчиво сказала она. – Учетчицей. На том берегу... Поступала в институт, не приняли. Готовилась как сумасшедшая, и вот все зря...

– Скучаете теперь?

– Днем на работе хорошо. Вечером очень скучно. Все одна, одна... Я на улицу редко хожу, в кино только иногда. Мама не любит одна оставаться. Вышиваю вот... А хорошо, что вы у нас комнату сняли, я не люблю пустых комнат! Я боялась, вам не понравится здесь. Глухо... Что у нас может понравиться? – Она неприязненно оглядела кухню потемневшими глазами.

«Вы, вы мне понравились!» – захотелось сказать Блохину. Но он ничего не сказал.

– Вы были в Москве? – спросил он немного погодя.

Девушка, не поднимая глаз, покачала головой. Блохин заговорил о Москве. Он говорил о театрах, институтах, о стадионах, и в тоне его невольно все сильнее звучала хвастливая нотка. А девушка слушала, как слушают сказку: на щеках ее выступил слабый румянец, глаза блестели. Она отложила вышивание, облокотилась на стол, не моргая смотрела Блохину в лицо. Его смущал и беспокоил этот пристальный взгляд, но недавняя удрученность его и скука бесследно исчезли, он был теперь почти счастлив.

Темный, занесенный снегом город со старинными пузатыми купеческими домами, чайная, лошади, сани, запах сена, навоза и снега, Дом культуры с нестройными звуками оркестра и людьми в париках, дорожные разговоры и мечты, пустынная широкая река, наконец, этот дом с недоброй хозяйкой и нежной, доверчивой дочерью – все это теперь казалось ему значительным, интересным и странным.

– Какой вы счастливый! – с откровенной завистью сказала девушка. – А я родилась в этой глуши, ходила в школу, а теперь мне кажется, что я никогда ничего не знала и не жила совсем.

Она вдруг улыбнулась насмешливо и жалобно.

– Вы не знаете, как я мучилась летом... Когда автобиографию писала. Какая у меня автобиография? Три строчки... Родилась, училась, огород копала, стирала, летом по ягоды ходила – и все? Ничего в моей жизни нет. Смотрю кино или радио слушаю: там сделали что-то, кто-то подвиг совершил, кто-то на целину уехал, спортом занимаются, учатся, вечером огни горят, интересная жизнь, а у меня ничего. Вам кто сказал о нашем доме?

– Да тут один паренек привел меня. Из Дома культуры...

– А, знаю! Коля Балаев, да? Он вам ничего не говорил?

– Нет, ничего, – сказал Блохин и почувствовал вдруг, как что-то кольнуло его в сердце. – Ничего не говорил. А что?

– Он жил у нас. Это такой человек! Знаете, я стала заниматься в театральном кружке, ходили вместе, говорили, мечтали... А мама, – девушка вдруг покраснела, – мама выгнала его. Прямо взяла и выгнала. И на меня... Теперь мы уж не встречаемся.

– Вы любили его, да? – с усилием спросил Блохин.

– Нет... – ответила девушка, подумав. – Нет. Я не знаю еще, как чувствуешь любовь, но это... у нас не было этого.

– Вам наш город понравился? – спросила она спустя минуту.

– Станный какой-то. Дома купеческие, лошади, снег, темно... У нас в Москве нет этого.

– В Москве! – девушка вздохнула; глаза ее снова потемнели. – Наш город старый, восемьсот лет ему, и жизнь какая-то старая. Только и гордимся тем, что у нас какой-то великий князь умер. Велика гордость! И кино есть, и школы, и техникум, летом все на велосипедах катаются, а жизнь все равно глухая. Тут что ни дом, то купцы. Только капиталы у них отобрали, а так... все бородатые, вечерами сидят в чайной, чай пьют. На нашей улице все старoverы живут, и мама у меня старoverка, людей не любит... Здесь близко в одном доме молельня есть, собираются, молятся, бормочут. И я бывала, только я не верю ничему. Назло не верю! В комсомол мама не позволила вступить. Сижу вот, вышиваю... А зачем это нужно, кому? Не знаю. Зачем я живу?

У нее показались на глазах слезы, она быстро отвернулась к стене. За окном послышался вдруг мерный и частый звук, который постепенно приближался. Было похоже на громкое тиканье будильника.

– Что это? – спросил Блохин.

– Это? – Девушка прерывисто вздохнула и посмотрела в темное окно. – Сторож... В колотушку стучит.

– В колотушку? – переспросил Блохин, с изумлением прислушиваясь: до сих пор он никогда не слышал колотушки. – Зачем же в колотушку?

– Не знаю, – неохотно отозвалась девушка. – Стучит... Стучит, а мне иногда кажется, будто это в голове у меня стучит.

«Так-ток-так-ток-так-ток», – раздавался унылый, теперь удаляющийся звук, а Блохин с удивлением, даже с некоторым страхом смотрел на сидящую перед ним девушку и думал, как тоскливо действительно жить в таком доме.

– Но как же это... – громко начал он. – Так же нельзя! Это же черт знает что за жизнь! Почему вы... Я понимаю, конечно, ваша мама... Но мама ваша – пожилой человек! Ее-то жизнь прошла, и у нее потом была совершенно другая жизнь, она родилась до революции, она привыкла так жить... Но вы! Поговорите же с ней, объясните ей! Ну, хотите, я с ней поговорю?

– Не надо, – умоляюще сказала девушка. – Прошу вас, не надо! Это ни к чему не приведет. Вы думаете, я не говорила ей? Сколько раз! Но я одна здесь, поддержать меня некому, и вот привыкла. Да и не я одна такая – сколько у нас таких, если бы вы знали! Привыкаем... Ведь мы – невесты, нас нужно беречь, чтобы как можно выгодней потом выдать замуж. А уж как тяжело другой раз, если бы вы знали! Вам мама говорила, что у нас профессора жили, – я слышала. Врет она! Никто у нас не жил. Поживут неделю и уйдут, поживут и уйдут. А я сколько уж лет живу. Иногда разозлюсь, так бы вот и разбила этот проклятый дом с овцами да с поросятами!

– Так уходите отсюда, уходите! – взволнованно сказал Блохин.

– Уйти... Вы думаете, я не хотела? Да что толку... Куда пойдешь? Кому я нужна? Ни знаний, ни специальности, ни родных, никого в целом свете нет...

В коридоре послышались шаги, девушка сразу замолчала, прикусила губу. Пришла хозяйка. Она поставила ведро у двери, хмуро глянула на Блохина, на дочь, разделась и прошла к себе.

– Чай будете пить? – спросила она через минуту из комнаты.

– Нет, спасибо... – с усилием ответил Блохин. У него как-то странно сжималось сердце, от разговора в груди остался какой-то горький осадок, было почему-то неприятно и стыдно.

Девушка не смотрела больше на него, торопливо продергивала нитки в вышивке, маленькие ее руки, загрубевшие от работы на холоде, дрожали. Блохин не мог видеть больше этих дрожащих рук, встал и пошел в свою комнату.

– Пойдите! – испуганно сказала девушка.

Блохин обернулся. Прижимая к груди руки, девушка выбралась из-за стола, подошла к нему. Скулы и уши ее жарко горели, по глазам было видно, что ей тоже стыдно чего-то.

– Почему вы уходите? – тихо спросила она, глядя на Блохина так, что он начал пугаться. – Я вам рассказала про себя, потому что...

– Таня! – крикнула вдруг из своей комнаты хозяйка.

– Потому что я давно ни с кем...

– Таня! Иди сюда! Ты что там шепчешься, бесстыдница!

– Сейчас! – злобно и страдальчески откликнулась девушка и топнула ногой.

– Что? Ты слышишь, что я сказала? – Послышались решительные шаги хозяйки. Девушка с мучительным стыдом посмотрела на Блохина.

– Мы с вами поговорим еще, хорошо? – шепнула она быстро, обдав его теплым детским дыханием, и ушла.

Блохин вошел в свою комнату, бесшумно прикрыл за собой дверь, прислушался, затаив дыхание. «Вот черт! – подумал он, переводя дух. – Ну и жизнь! Что же это такое! Не верится даже, будто во сне!» Он постарался развлечься, думая о том, что завтра нужно будет приниматься за работу, и вообще о делах, но голова его горела, перед ним все стояло лицо девушки. «Ее Таней звать, – с состраданием думал он. – А мы так и не познакомились...»

Немного погодя, осторожно постучавшись, вошла хозяйка. Она потрогала печку, поправила скатерть на столе, потом присела, стала жаловаться на жизнь, на вдовство, на то, что в магазинах почти не бывает сахара. Слова были мелкие, нудные, голос неприятный.

Блохин страдал, хмурился и молчал. Потом она стала спрашивать Блохина о семье, о занятиях...

– Так вы в Москве, значит, живете?

– В Москве.

– Квартира большая у вас?

– Маленькая. Одна комната.

– Так... Одна, значит. Тоже не сладко живете. Женатые?

– Нет еще.

– Зарабатывать-то много собираетесь?

– Не знаю.

– Как же это? Как же не знаете?

– Ну... рублей восемьсот-девятьсот.

– Восемьсот. Так... – В глазах хозяйки мелькнуло что-то, на лице показалось едва уловимое презрение, она моргнула, прекратила расспросы и неслышно ушла.

Блохин быстро разделся, потушил свет и лег. Ему не спалось, он ворочался на жесткой холодной кровати, вставал, садился у темного окна, курил.

За стеной слышался шепот, всхлипывания... Поскрипывали половицы, что-то стучалось об пол, кто-то выходил на кухню, звякал кружкой, пил воду. А на улице через равные промежутки возникал унылый звук колотушки, приближался и опять слабел.

Когда Блохин заснул, ему приснилось, что вокруг дома ходит кто-то страшный, постукивает палочкой по стенам и пытается залезть внутрь. Но на дверях и окнах – всюду огромные запоры, и проникнуть в дом невозможно.

3

На следующий день Блохин проснулся с головной болью.

Комната за ночь выстыла, одеяло было тонкое, не грело, и у Блохина замерзли ноги. Матрац тоже был тонкий, сквозь него чувствовались доски, бока у Блохина болели. На окнах намерзла наледь. В доме было тихо.

Одевшись, Блохин вышел на кухню. Тошнотворно пахло вареной картофельной шелухой. Воды в умывальнике не было, самовар стоял холодный. Блохин пошел в коридор, потрогал одну дверь: заперто. Он подергал другую – тоже было заперто. Третья дверь открылась, Блохин заглянул в сарай и увидел хозяйку. Она почесывала за ушами поросенка, на лице ее тлеяла слабая улыбка. Поросенок по самые уши залез в ведро, двигал его, чавкал, вертел хвостиком.

Увидев Блохина, хозяйка нахмурилась, прошла за ним на кухню. Она была в грубых грязных сапогах, в телогрейке и темном старушечьем платке. От одежды и рук ее пахло навозом.

– А я воду-то не нанималась вам носить, – сказала она. – И потом подумала я тут, рассчитала... Надо с вас двести пятьдесят брать за комнату.

– Это почему же? – удивился Блохин.

– То есть как же почему? Белье постельное нужно стирать, воду носить вам, потом отапливать... Как же почему? Потом свет вы жгете, лампа большая, сто свечей, сколько мне это платить? У меня не кузница, денег я не куя. Потом я бы попросила вас на улицу выходить курить, вы курите много, голова у меня разбалчивается.

– Чаю вы мне разогреете? – спросил Блохин и покраснел.

– С чего же это я угли жечь буду? Они-то небось деньги стоят. Вставать надо раньше, а то спите развальясь, а вам десять раз самовар грей. А я вдова, мне взять неоткуда, мне никто не поможет. Я уж жалею, что и комнату вам сдала, – уж больно вы жилец беспокойный, Бог с вами...

Блохин молча повернулся, пошел к себе в комнату, стал укладывать вещи в чемодан. Тихо вошла хозяйка, долго смотрела на него, потом спросила:

– Что же, съезжаете с квартиры, значит?

Блохин молчал, только крепче сжимал зубы.

– Да ведь я вас и не держу. Вы мне не сгрозите, я на свою площадь жильцов всегда найду, деньги только заплатите за ночлег, скатертью дорожка. У меня профессор жил, благодарен остался да еще сверх платы прибавил... Инженера тоже жили, покультурней иных-прочих.

– Ну вот что. – Блохин закрыл чемодан, надел пальто. – Вот что: разговаривать с вами я не хочу. Ночевал я у вас одну ночь. Сколько с меня? Рублей семь, наверно? Или восемь?

– Это почему же семь? – побледнела хозяйка. – Почему же семь? На квартиру стали-то вы вчера? Значит, за два дня. Да еще из-за вас мне простыни стирать надо... Семь рублей? Да наволочку... Двадцать пять рублей с вас!

Блохин вынул десять рублей.

– Берите, – сказал он, усмехаясь.

– Это что же? – Хозяйка поджала рот. – Да подавитесь вы моей добротой, не надо мне ваших денег, оставьте себе, разживетесь от меня, от вдовы...

– Как хотите, – сказал Блохин, засовывая деньги в бумажник и искоса поглядывая на хозяйку.

Мгновенно вытянулась сухая темная рука с грязными ногтями, схватила деньги, сжала их в кулаке.

– А вы и рады? Эх, а еще образованный! Что это вы вчера дочери моей говорили? Дурочку нашли? С матерью разлучить хотите?

– Дочь? – закричал вдруг Блохин. – Не дочь она вам!

– Культурного из себя представляет, институт кончает! – не слушая его, кричала хозяйка, все больше бледнея. – Не стыдно вам, глаза ваши не лопнут на свет белый глядеть! В чужом доме свои порядки заводите? Свой займите раньше! Голь беспортошная, прости, Царица Небесная! Опоганил ты мой дом, нехристь проклятый, иди отседа, иди, иди-и!..

Блохин быстро вышел в коридор и на крыльцо. Снег на крыльце гулко заскрипел под ногами, запахло морозом и свежестью, в глаза ударил необыкновенный свет солнечного февральского дня, а на душе стало гадко и тяжело, будто поймали его на чем-то нехорошем.

Дома на улице, крошечные, утонувшие в снегу баньки казались от солнца веселыми, блестя стеклами, бросали на дорогу резкие голубые тени. На блестящей, накатанной санями дороге видны были янтарные навозные пятна и ходили вороны, а выше, на крутом обрыве со снежными наплывами, каким-то чудом держались редкие ели с сизыми стволами...

Но Блохин не видел ничего этого, вся красота яркого зимнего дня была не для него. Задышавшись, он карабкался вверх по крутой обледенелой тропе, падал, оставляя после себя вмятины на снегу от чемодана.

Сверху Блохин посмотрел вниз, на дом, в котором провел ночь, на широкую ослепительно-белую реку. «Где же теперь увидеть Таню? Как ее встретить? Расскажу Бадаеву, – решил он наконец, – тот поможет. Надо же что-то делать!» Сердце его бурно билось от стыда, от ярости, от любви к нежной, робкой девушке. Внезапно он вспомнил о том, зачем приехал в этот город, о практике, – злость и горечь охватили его. «Что практика! – с раздражением подумал он. – Сидеть в библиотеке, составлять каталоги, рекомендательные списки, вести учет читателей... А тут рядом человек пропадает, рядом целая улица староверов! И они тоже, наверное, читатели! Практика! Вот где практика нужна, в этих домах!»

Он еще раз с ненавистью посмотрел вниз, отвернулся и пошел к гостинице. Больше он не оборачивался, но если бы и оглянулся, то не увидел бы ничего: дом скрылся под кручей.

Поморка

1

В сентябре на Белом море темнеет рано, сумерки коротки, а ночи аспидно-черны и холодны. Вырвется иногда перед закатом солнце из облаков, бросит последний угасающий луч на море, на холмистый берег, желто отразится в окошках высоких изб и тут же побагровеет, сплосщится, уйдет в воду.

Тускло светится темно-красная полоска зари, слабо и зыбко сияет высокое холодное небо, а земля, избы в деревне, косогоры с поскотинами, словно щетиной поросшие по краям мелким низким лесом, – все погружается в темноту, только долго еще светятся в ответ заре свежошкуренные бревна возле правления и маслянисто блестит, хрустит под ногами щепы.

Вспыхнут на берегу моря, возле самой воды, несколько маленьких костров: сидят на корточках мальчишки, пекут себе картошку. Потом загорятся огни в окнах... Но скоро погаснет все – и костры, и окна, – и деревня погрузится в долгий осенний сон.

А в полночь вдруг станет светло, прянут в зенит длинные дрожащие столбы, молча и страшно задвигаются, меняя бледные краски, отражаясь в море. Потом погаснут так же внезапно, как и возникли, и опять темнота сомкнется над землей и будет держаться упорно, долго, до неохотного рассвета следующего слепого дня.

Днем в деревне пусто. Ребята в школе, рыбаков нет – кто сидит на тоне, кто далеко в море на лове трески, кто в поле... Оживляется деревня только по праздникам да если какая-нибудь бригада привезет богатый улов сельди или семги. В этот вечер потрескивает, сипит радио на столбе возле клуба, горят по улицам редкие фонари, однообразно вякает аккордеон, перебираемый непослушной рукой, слышен смех девок, запоем кто-нибудь песню...

Но пройдет день-два, и опять опустеет деревня. И так будет до самой глубокой осени, когда начнут возвращаться рыбаки с тоней, придут мотоботы с глубьевого лова, когда кончатся наконец все полевые работы.

Тогда избы вновь наполнятся запахами соленой трески и пикши, водки и браги по праздникам, махорочным дымом, крепким мужицким говором, стуком сапог. Станет весело! Жарко будут топиться печи по утрам, вкусно запахнет ржаным хлебом из пекарни, дым будет высоко подниматься в бледное небо над седыми от изморози крышами. Хватят по ночам крепкие заморозки, начнет замерзать и звонко ломаться у берегов море, а из скотных дворов хорошо, уютно будет тянуть теплым навозом.

В клубе начнут чуть не ежедневно крутить кино, допоздна станет бубнить на задах дизель электростанции, без конца будет заседать правление, и разговоров про рыбу, про план, про погоду, про заработки и трудодни хватит надолго, чуть ли не до февраля, когда снова опустеет деревня: кто уйдет на ледоколе на зверобойный промысел, кто – в Унскую губу на зимний лов наваги.

2

Пусто и в избе, где я живу. Высокая, огромная, в две связи, со множеством комнат и чуланов, строенная на большую семью, наверное, еще в прошлом веке, – она тиха и гулка.

По ночам в ней тихо трещат стены. Днем она поражает чистотой. До блеска вымытые окна загораживают цветы тоже с блестящими протертыми листьями. Белые полы пахнут мылом и березовым веником. По полам от дверей раскинуты старые сети. От сетей в избе стоит слабый

пряный запах моря, водорослей. На почетных грамотах, фотографиях, настенных зеркалах – всюду висят чистые, голубые от синьки, расшитые полотенца. Столы и сундуки покрыты суровыми хрустящими скатертями с мережкой.

И в тишине живет, всю эту чистоту и старинный порядок блюдет один человек – девяностолетняя старуха Марфа.

Как она стара! Странно и жутко порой глядеть мне на нее – такое древнее и темное у нее лицо, такие тусклые, выцветшие глаза, так неподвижно сидит она в редкие минуты отдыха. Уж никогда-никогда не выпрямить этот согнутый стан и ставшую круглой уже спину, не истончить громадные набрякшие ноги, не согреть холодные руки.

Неужели была она когда-то горяча и хороша, неужели в этом теле билось когда-то иное сердце? Нет, нет, нельзя поверить, нельзя вообразить ее иной, чем сейчас!

А все-таки была она молодой и, по словам стариков, помнящих ее, еще какой красавицей была! С каким самозабвением плясала она на праздниках, как пылали тогда ее щеки, как горели и сияли глаза, каким туго налитым, стройным и сильным было ее тело!

Как любила она своего Ванюшу – кряжистого, с выпуклой грудью, с мелкими белыми зубами, жесткими черными усами и жестким же черно-смоляным чубом парня, – как обмирала, пылала и дрожала, когда видела его, идущего по улице в розовой рубаше, в вонючих высоких сапогах, с каким радостным страхом кидалась опростеть на зады, видя, что он сворачивает к ее дому.

У, как была она красива тогда и как любила петь, какие дивные старинные песни знала, какой заунывно-звонящий голос был у нее! И как талантлива, яростно-неуемна была она на любую, даже самую тяжелую, грязную работу!

Так что же иссушило, состарило ее, сделало холодными руки и утишило сердце? Уж не белые ли призрачные, завораживающие ночи, не страшное ли ночное солнце выпило ее кровь? Или, наоборот, длинные зимние вечера, которые проводила она за прялкой при багровом дымном свете лучины?

О чем думала она, о чем мечтала в эти вечера, когда свистел и гудел ветер, гнал колючий сухой снег, задувал в окна, выл в печной трубе, когда гулко и грозно ломало прибрежный лед и страшно было выйти на двор, в черноту полярной ночи?

А как вопила она, как билась и причитала, провожая и обряжая в смертную дорогу отца и мать, братьев и сестер, а потом и мужа и детей, наглядываясь каждый раз на них и не в силах наглядеться. Как бежала она к морю, как кидалась в волны, как хотелось ей в те минуты тоже навеки остаться на песчаном кладбище, среди редких низкорослых сосен!

Случай забросил меня сюда ненадолго, скоро я уеду и никогда, быть может, не увижу больше ни моря, ни этих высоких, черных осенью изб, ни этой древней поморки. Отчего же так таинственно близка и важна мне ее жизнь, почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней, расспрашиваю ее? А она не любит рассказывать, отвечает всегда кратко, общими словами:

– Как жила-то? Да всяко...

– А как же?

– Дак я и говорю – всяко...

Говорит она как-то бегло, не пристально, невнятно, рассеянно оглядываясь или думая о чем-то своем, далеком, сокрытом от меня. Но вдруг вспоминает о внуках-моряхах, оживляется, приносит открытки, которые месяцами шли в эту глухую деревню и которые кажутся почти сказочными в этой северной стороне. Она разворачивает чистый платок, и они рассыпаются по столу – лаковые, нежно-яркие, со штемпелями Бомбея, Рангуна, Сан-Франциско, Коломбо...

Я читаю их вслух, Марфа слушает, опустив темное лицо, на котором тлеет *слабая* улыбка. Долго потом перебирает она их, щупает корявыми пальцами гладкий картон, всматривается

в картинки, наконец заворачивает, уносит, прячет в сундук и снова ходит по избе, все что-нибудь делает...

Встает она затемно. Простоволосая, наскоро молится, тяжело и трудно со сна кланяясь в темный угол, где между почетных грамот висит черная раскольничья икона в тусклом серебряном окладе. Потом повязывает платок, выходит в сени, начинает ходить по избе, по всем ее комнатам, чуланам и клетям, лазит на чердак, в поветь, выходит на огород.

Чего только не переделает она за день!

Доит и гонит на улицу корову, шумит сепаратором, кормит кур, лезет на поветь за яйцами, косит и рубит потом на крыльце кроваво-ржавым косарем траву и картофельную ботву поросенку; копает картошку на огороде, сушит, когда светит солнце, и сыпает в подпол; топит печь, варит обед, кипятит самовар, идет к морю с корзиной, собирает сиреневые пучки водорослей, которые покупает у нее агаровый завод; привозят ей сено, и она, надрываясь, таскает его наверх, в поветь по «съезду», а по субботам топит баню, натаскивая туда до двадцати ведер воды, стирает, штопает, гладит, метет и моет полы, сени, крыльцо и даже деревянные мостки возле избы; чуть не каждый день ходит она на скотный двор помогать телятницам и зарабатывать себе трудодни; на ближней тоне, в десяти километрах от деревни, живет ее младший сын, хмурый вдовец, уже седой и часто похварывающий, и Марфа раз в неделю, переделавши с утра множество работы, идет туда, несет папирос, масла, хлеба и сахару, приходит на тоню часа через три и, не отдохнув, начинает и там мыть и стирать, штопать и даже чинить порванные сети – на тоне этой живут одни мужики, и Марфа не может не справить своей бабской, как она говорит, работы.

3

Последнее время она стала плохо спать. Какая-то торжественная перемена происходит у нее глубоко в душе. И эту перемену она воспринимает как знак, как предзнаменование скорой смерти. Все чаще снятся ей муж, отец, мать, умершие дети... И я вижу, как лазит она в сундук, разглядывает свое смертное: чистую рубаху, уже пожелтевшую и пропахшую деревом сундука, просторный белый саван, платье, расшитое покрывало, ленты холстины, темные чулки и тапки. Она рассматривает, перекладывает, расправляет все это – чуждое и страшное человеку – с такой же споростью и пристальностью, как и всякую другую необходимую в хозяйстве вещь.

– Не тогда плясать, когда гроб станут тесать, – с удовольствием говорит она.

Умирать ей не страшно. Она непоколебимо убеждена в справедливости жизни, в справедливости и необходимости прихода смерти.

– Могилка-то давно меня ждет, – ласково, как о чем-то очень приятном, говорит она, глядя поверх меня тусклыми глазами. – Там и батюшка, и матушка мои повалены лежат... И сыны там, все там. Небось по мне соскучились. А я, слава тебе, Царица Небесная, пожила.

Ночью, когда на море разыгрывается шторм, ревет внизу совсем близко прибой и рев этот отдается по всей избе, так что вздрагивают потолки и стены, Марфа молится, стоя на коленях в углу. Молится она не за себя – за тех, кто на рыбных промыслах в Баренце.

– Пошли, Господи, им поветерь, – шепчет она и кланяется, стукаясь лбом о пол. – Не погуби, Господи, сохрани их, Николушка!

Странно мне слушать это – будто бабка моя молится, будто мать свою я слышу сквозь сон, будто все мои предки, мужики, пахари, всю жизнь, с детства и до смерти пахавшие, косившие, положенные, забытые по погостам, родившие когда-то и хлеб, и другую, новую жизнь, будто это они молятся – не за себя, за мир, за Русь – неведомому Богу старозаветному, доброму Николе-угоднику.

– Пошли им погодушку, небушко чистое, водицу светлую, – шелестит во тьме девяностолетний голос.

Потом она ложится и лежит неподвижно, глядя в темноту. Тошно ей, тяжело, давят ее годы – детство, молодость, такие далекие, такие неясные уже и все-таки прекрасные, как белая ночь, вся в солнце незакатном, и старость – как один темный осенний вечер.

Лежит Марфа, вспоминает свою жизнь, и представляется ей, будто она, молодая девка, поет песню, слышит со стороны свой чистый печальный голос:

Ах ты, моя матушка,
Твой сынок да разнесчастный
Далеко на море побежа-ал...

Но эти радостные и грустные мысли скоро уходят, уступая место другим, привычным мыслям и заботам. И она уже думает, как бы дожить до Михайлова дня, когда все начнут собираться домой, что корова уже стара, плохо и мало доится, и не забыть сказать, чтобы купили новую, что надо гонять овец за коргу – там много морской капусты давеча накидало, что надо жать ячмень на огороде да вешать сушить...

Засыпает она не скоро и не сразу, вздрагивая несколько раз. Во сне редко и слабо дышит, просыпается, перекладывает млеющие руки и опять спит и не спит, все слышит и понимает, но и сны видит – смутные, давно знакомые...

Все чаще бушует море, и все чаще выходит Марфа к вечеру на берег, стоит неподвижно возле наискось заделанных палок плетня, твердо чернея на бледно-желтом фоне зари. Смотрит на грязно-вздохмаченное море, на без конца бегущие и ревушие на отмели взводни с белыми гривами – знакомая картина!

Резко и горько пахнет холодной картофельной ботвой, водорослями, резко, несмотря на гул моря, слышны женские голоса, шаги по деревянным мосткам, какой-то особенный в этой деревне, басовитый и короткий крик коз.

По улице, по деревянным мосткам, крепко стуча сапогами, идет сосед-рыбак – крутоплечий, крепкий, счастливый своей крепостью. Подходит поздороваться, зовет вечером в кино, дымит сигаретой и густо кашляет, наливаясь кровью. Потом замечает Марфу, делает серьезное лицо и грубо-восхищенно говорит:

– Ах ты! Опять выползла... Своих ждет. Хорошая старуха-то, святая, одно слово – поморка! Хошь, выпьем за нее?

Он сильно затягивается, прищуривая правый глаз, обжигая губы, бросает окурок, втаптывает его каблуком в песок, жидко сплевывает и идет берегом на рыбоприемный пункт, потирая красную шею, ширкая друг о друга отвороченными голенищами высоких сапог. Проходя мимо Марфы, он сдергивает кепку и почтительно кланяется ей.

Ветер холодеет, небо темнеет, заря окрашивается в винный цвет, воздух делается прозрачней, смугло румянеют избы наверху, а на востоке загораются редкие бледные звезды. Скоро совсем смеркнется, а Марфа все будет стоять, положив старчески-сизые руки на плетень, и смотреть на море, пока не погаснет последний мгlistый отблеск зари.

Манька

Посвящается К.Г. Паустовскому

1

От Вазинцев до Золотицы – тридцать верст. Дороги нет, идти нужно по глухой тропе, зарастающей мхом, травой, даже грибами. Маньке кажется иногда: не ходи она каждый день с почтой по этой тропе, все бы давно заглохло – блуди потом по лесу!

Манька – сирота.

– Батюшка в шторм потонул, – говорит она, опуская глаза и облизывая губы острым языком, – а матушка на другой год руки на себя наложила. Порато тосковала! Вечером раз вышла из избы, побегла по льду в море, добегла до полыньи, разболочлась, одежду узелком на льду сложила и пала в воду...

И, покраснев, невнятно договаривает:

– У меня матушка дикая была...

Дикость какая-то, необычность есть и в Маньке. Дремучесть, затаенность чувствуются в ее молчании и неопределенной улыбке, в опущенных зеленоватых глазах. Когда года четыре назад хоронили ее мать, Манька, скучная, равнодушная, упорно смотревшая себе под ноги, вдруг поднимала ресницы и разглядывала провожавших такими лениво-дерзкими странными глазами, что мужики только смущенно откашливались, а бабы переставали выть и бледнели – пугались.

Года два уже работает Манька письмоношцем. В свои семнадцать лет она прошла так много верст, что, наверное, до Владивостока хватило бы. Но работу свою она любит. Дома неприглядно, пусто, скучно: скотины нет, сквозь давно не чиненную крышу повети глядит небо, печь полгода не топлена.

Худая, высокая, голенастая – ходит Манька легко и споро, почти не уставая. Выгорают за лето ее волосы, краснеют, а потом темнеют ноги и руки, истончается, худеет лицо и еще зеленой, пронзительней становятся глаза.

Дует в лицо ей ровный морской ветер, несет удивительно крепкий запах водорослей, от которого сладко ломит в груди. По берегам темных речушек, заваленных буреломом, журчащих и желто пенящихся, зацветают к августу пышные алые цветы. Рвет тогда их Манька, навязывает из них тяжелые букеты. Или, отдыхая в тени серых, изуродованных северными зимними ветрами елок, украшает себя ромашками, можжевельником с темно-сизыми ягодами, воображает себя невестой.

Легко, сладко, вольно ходить ей, когда мало почты. Но иногда приходит много посылок, бандеролей, журналов. Тогда надевают на спину Маньке большой пестерь и плотно, тяжело нагружают его.

– Ну как, девка? – кричит тенором начальник почты. – Дойдешь ли? Может, за лошадью послать?

– Ничего... – сипло отвечает Манька, розовеет лицом и шевелит лопатками, поудобнее устраивая пестерь.

Уже через версту начинает ломить у нее спину и тяжелеют ноги. Зато сколько радости в эти дни у рыбаков на тонях!

Какое оживление, веселье разгорается, как медленно, старательно, с каким смехом заполняются квитанции, и как любят рыбаки Маньку в такие дни!

– А ну, девка! – кричат ей. – Скидывай пестерь-то, поспеешь еще дак... Садись с нами уху хлебать! Митька, ложку!

И кидается какой-нибудь белобрысый Митька со всех ног в чулан за ложкой, торопливо обтирает ее полотенцем, с шутивым низким поклоном подает Маньке.

– Семужки, семужки ей поболе! – покрикивают с разных сторон. И, краснея, опуская глаза, Манька садится и ест, стараясь не глотать громко, с благодарностью чувствуя заботу и любовь к себе рыбаков.

Зато с газетами и письмами идти хорошо, не режут плеч лямки пестеря, чего только не насмотришься в дороге, о чем не надумаешься! В три рыбачьих тони нужно зайти Маньке по дороге в Золотицу. Каждый раз ждут ее там с нетерпением, и никогда не обманывает она ожидания: вовремя зайдет, попьет чаю с брусникой, расскажет новости, отдаст почту, к вечеру приходит в Золотицу и ночует там. А утром, захватив обратную почту, идет к себе в Вазинцы.

2

Первая от Вазинцев тоня называется Вороньей. Жили там четверо рыбаков со стряпухой, а с лета, когда ночи стали золотеть, прибавился пятый – Перфилий Волокитин.

Черноволосый, стриженный, с крепким маленьким лицом, он по весне демобилизовался, месяца два жил дома, хотел подаваться в город, но вдруг загулял с Ленкой – самой красивой и озорной девкой в деревне, из-за которой не раз дрались в клубе ребята, – решил остаться и попросился на Воронью рыбаком.

Принес он на тоню гармонь, часто играл, бездумно глядя в море, был постоянно и ровно весел, был по-солдатски чуток, расторопен, охотно брался за самую тяжелую работу, а вечерами брился, подшивал к гимнастерке ослепительные подворотнички, чистил сапоги, надевал набекрень фуражку и уходил в деревню, в клуб, возвращаясь каждый раз на рассвете.

Был он еще силен и буен, ловок, неутомим в танцах, был находчив и насмешлив в разговоре, и Манька, встречаясь с ним в клубе, отдавая ему письма и газеты, стала вдруг краснеть и опускать глаза. Ночами, дома и в Золотице, стала она плохо засыпать – подолгу думала о Перфилии, вспоминала его лицо и голос, его слова и смех, воображала с пылающими щеками, что живет она с Перфилием в высокой новой избе окнами на море и все у них есть, а заснув, колотилась коленками в стену, бормотала во сне.

Она спала в Золотице, в душной, натопленной избе, где ночевали еще человек восемь – бригада плотников, – когда под утро ей приснился вдруг Перфилий. Яростный, необычный и стыдный был этот предрассветный сон, и Манька сразу проснулась, широко раскрыла свои зеленоватые глаза, вскинулась и села, ничего в первую минуту не чувствуя, кроме колотящегося сердца.

Всхрапывали спящие на полу и на лавках плотники, тлела за потными окошками белая ночь, и неслышно давилась, всхлипывала Манька, внезапно понявшая, что любит Перфилия, содрогаясь от жалости к себе, к своему худому, детскому еще телу, от ненависти к красивой Ленке, от мысли, что пропала, загублена теперь вся ее жизнь. И только на рассвете, сморенная, измученная, заснула она с мокрым от слез лицом.

Страшно стало ей после этого утра подходить к тоне, боялась выдать себя, боялась грубого рыбацкого смеха, вздрагивала, холодела, увидев Перфилия, услышав его голос, сердце у нее падало, губы пересыхали и мягко ныло в груди.

Вся сомлев, полуживая, уходила она от Вороньей, понемногу прибавляла шагу, чуть не бежала, забиралась в глушь, падала лицом в сухой белый мох и долго сладко плакала от радости, от любви, от одиночества и непонятости. Несколько раз блудила она в лесу, шла куда глаза глядят, улыбалась, разговаривала сама с собой.

А иногда выходила к морю, садилась на камень, сжималась в комок, пригретая солнцем, смотрела на чаек, на сине-зеленую гладь моря, раскачивалась и бормотала: «Чаячки, чаячки...

Донесите вы к нему мою любовь!» И вспоминалась ей, как сквозь сон, старая ее бабка, давно умершая, давно ушедшая из этого мира, вспоминались ее сказки, ее вопли, и приходили сами собой, уверенно выговаривались дикие вещие слова: «Стану я, раба Божия Манька, благословясь, пойду, перекрестясь... Из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду я в чисто поле... Так бы и он скрипел, и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить, и ни быть, и ни пить, и ни исъ!» Жутко становилось ей, громко стучало сердце, потели ладони, и особенно желанным, особенно недоступно-красивым был для нее в эти минуты Перфилий!

Море было неподвижным, шелковистым, едва заметно поднималось и опускалось, будто дышало. Небо затягивало легкими светлыми облаками, пряталось в них солнце, светило мутным пятном. А там, над горбатым голубым мысом, падали в море веерообразные, бело-синие столбы света, и нестерпимо сияло, вспухало и как бы дымилось в том месте море. Лето стояло прекрасное, радостное, необычно теплое...

3

Однажды, уже в сентябре, Манька, еще более одичавшая за лето, подошла к тоне и настоженно остановилась. День выдался с утра ненастный, с ветром, с беспорядочным волнением на море. На рассвете прошел короткий крупный дождь, изба потемнела, приняла сразу осенний вид, скупо, бледно отсвечивала стеклами. Особенно много навалило на берегу в этот день водорослей, особенно много было на песке влажно-алых медуз, буро-желтых мелких звезд...

Вчера к вечеру попало в ловушки много семги, сегодня в Вазинцах был престольный праздник – стосковавшиеся рыбаки погрузили семгу в карбас и все вместе поехали сдавать ее на рыбоприемный пункт, а заодно попариться в бане, переночевать дома и погулять на празднике.

Поехал вместе со всеми и Перфилий, вечером пошел в клуб, послушал гармошку, сам немного и пренебрежительно поиграл, потом бросил, стал грызть подсолнухи, стал особенно громко острить, потом выпил с ребятами на улице, темные красивые глаза его начали косить, голос слегка охрип, он все больше возбуждался, расталкивал ребят и девок, враскачку входил в круг, закинув суховатое маленькое лицо, лениво прикрывая глаза, постукивал, поскрипывал хромовыми сапогами и равнодушно, под радостный гогот ребят и притворную ругань девок, выпевал похабные частушки...

И весь вечер хищно, трепетно следил за Ленкой, и что бы ни делал – делал ради нее. А когда всех выгнали из зала, стали расставлять лавки и продавать билеты в кино, он нашел ее в толпе, крепко схватил за руку, вывел в сени, где хрустела под ногами подсолнечная шелуха и пахло уборной, прижал к стене и, все больше бледнея, кося глазами, зашептал:

– Пойдем к тебе... Что ж ты со мной делаешь? Пойдем, дома посидим...

– Дома я всегда насижусь, – бойко, равнодушно сказала Ленка, не глядя на Перфилия, жадно прислушиваясь к тому, что делалось в клубе.

– Не хочешь, значит? – с угрозой и бессилием просил Перфилий, вдыхая запах пудры и волос Ленки. – Другого нашла? Из морячков, да? Смотри, не пожалела бы! Смотри, потрешь на кулак слезы...

– Пусти! – шепотом приказала Ленка, грубо и сильно рванулась и, не взглянув на Перфилия, ушла опять в клуб, сильно хлопнув дверью. А Перфилий впервые заметил, какая у нее раздражающе высокая грудь, какие жадные и крупные руки, какое жестоко-красивое лицо и как нагло, вызываяще покачивает она на ходу бедрами.

Он вышел на темную улицу, освещенную редкими фонарями, на бодрящий холод, отрывая пуговицы, растегнул гимнастерку, снял фуражку и пошел домой, вздрагивая от ярости и стыда, крепко стуча сапогами по деревянным мосткам. Из дому, не слушая уговоров матери,

захватив с собой бутылку водки, хлеба и сала, он спустился к морю, сел в карбас и через два часа был у себя на тоне.

Он вошел, разгоряченный злобной греблей, зажег лампу, не присаживаясь к столу, налил стакан водки, выпил и сжал зубы, моргая, ероша отросшие за лето жесткие волосы. Потом вышел из избы, сел на бревне, закурил и долго остекленелыми глазами смотрел в темноту, в холод моря, туда, где летом катился ночью по горизонту огромный тускло-багровый диск солнца и где теперь все чаще дрожали, зыбко светились и устало потухали голубые столбы северного сияния.

И когда утром, настороженная необычайной тишиной, вошла в избу Манька, Перфилий спал на своей койке в углу, раскинув ноги, с заголившимся мускулистым животом, завернув голову телогрейкой. Услышав стукнувшую дверь, он проснулся, тупо посмотрел на Маньку, потер лицо.

– А! Пришла... – сказал он хмуро и сел к столу, обхватив голову руками. – Письма есть?

– Нету... – Манька опустила на лавку, стыдливо поджала ноги и перевела дух.

– Нету! А чего принесла?

– Газеты. – Манька кашлянула и облизала губы.

– Газеты! – Перфилий мрачно посмотрел в окно. – Шторм будет! Как бы ловушки не сорвало... В деревне-то чего у нас? Уехали, суки, гулять им надо!

Он тяжело поднялся, пошел к ведру напиться, оглядывая съезжившуюся фигуру Маньки.

– Чего это ты сегодня какая-то... – невнятно спросил он и, закинув голову, раздувая горло, стал пить.

– Какая? Никакая... – прошептала Манька, краснея до смуглоты, наклоняясь, разглаживая платье на коленях.

– Все одна живешь?

– Одна...

– Скучно одной-то, – без выражения сказал Перфилий, глядя в окно.

– Живу... – Манька слабо двинула рукой, кашлянула, встала, подошла к ведру и тоже стала пить, наслаждаясь от мысли, что пьет из той же кружки, из которой только что пил Перфилий.

– Идти мне надо, – сипло сказала она, снова садясь и поднимая на Перфилия испуганный взгляд. Но Перфилий не слышал ее – смотрел в окно и молчал.

– Шторм идет! – сказал он глухо. – Метеористы чертовы! Три балла сегодня по метеосводке...

Манька тоже взглянула в окно. Море потемнело, билось в берег, ветер посвистывал в вешалах. Волны шли быстро, пенясь, налезая друг на друга, а по горизонту росла, приближалась черно-лиловая полоса.

– Шторм идет, а они гулять поехали! – горько и грубо повторил Перфилий, вспомнив Ленку, пошел за занавеску, стал натягивать брезентовые штаны и куртку.

– Куда ты? – спросила Манька, обмирая. – Куда ты, ай утонуть хочешь?

– Куда! Ловушки в море стоят, выбирать надо! – пробормотал Перфилий и вышел вон. Манька, приоткрыв рот, прислушалась к ветру, потом глянула в окно на полосу, которая значительно расширилась за эту минуту, и опрометью выскочила вслед за Перфилием. Ветер туго ударил ей в лицо. Перфилий возился у карбаса, когда Манька подбежала к нему.

– Ну? – Перфилий недовольно повернулся к ней и, не дожидаясь ответа, стал спихивать карбас по каткам к воде.

– Я с тобой, – сказала Манька и тоже уперлась плечом в карбас.

– Еще чего! Детский сад! – заорал Перфилий, когда карбас уже прыгал и бился по песку. – Пошла в избу!

– Не пойду! – Манька вцепилась белыми пальцами в борт. – Чего я, моря не видала?

– Ну так прыгай! – весело вдруг и с какой-то отчаянностью закричал Перфилий и оскандился. – Лезь!

Манька ловко вскочила в карбас, падая с борта на борт, пробралась на корму. Перфилий, побагровев, оттопыривая зад, по пояс в воде, толкнул карбас, подпрыгнул, упал животом на борт, перевалился внутрь, схватил весла и стал заворачивать карбас на волну. Через минуту они уже ходко шли, поднимаясь и проваливаясь, к черным кольям ловушек, поставленных метрах в двухстах от берега. Манька сильно подгребала, слизывая с губ соленые брызги, ветер раздувал ее волосы. «Платок забыла! – думала она. – Ой, потонем мы, ой, ветер порато дует!» И влюбленно глядела в закинутое, решительное, красное от напряжения лицо Перфилия.

Подошли к первой ловушке и с ходу, спеша, боясь даже глядеть на приближающуюся черную полосу, стали вытаскивать колья и укладывать их вместе с сетью в карбас. Манька то подтягивала сеть, то выбрасывала черпаком воду. У нее скоро заломило руки и ноги, платье намокло, задралось, оголились пятнистые от холода, крепкие узкие бедра, показался край розовых штанов. Маньке было стыдно, но она уже не могла выбрать минуту оправить платье. А Перфилий и не смотрел на нее, колья были вбиты крепко, он раскачивал их, карбас бросало, волны становились все выше, надо было спешить.

Минут через пятнадцать ловушка была снята, пошли к берегу. Карбас осел. Перфилий бешено греб, глядя на что-то, что приближалось с моря. Манька сидела лицом к берегу, подгребала, вычерпывала воду и боялась оглянуться.

– Стой! – дико заорал Перфилий. – На берег не выедем, кидай в воду, отсюда не унесет!

Выбросив ловушку, которую тотчас с ревом потащило на берег, они повернули опять в море. Теперь лицом к морю сидела Манька, полуживая от ужаса. Ни неба, ни облаков, ни моря вдали не было. Было что-то черное, туманное, бесстыдно, нагло возбужденное, взлохмаченное, и в черноте этой одни гребни волн холодно и жестоко белели. До второй ловушки еле добрались сквозь ветер. Перфилий выгибался, закидывался при каждом гребке, у Маньки подламывались руки...

И опять цеплялся Перфилий за колья, раскачивал их, опять ходуном ходил карбас и, когда поднимался, задира л нос, заваливаясь набок, – голова и руки Перфилия скрывались за бортом. Округлив от ужаса глаза, Манька видела тогда только его напряженный зад и раскоряченные ноги в мокрых блестящих сапогах. Выданный из грунта кол прыгал вверх, Перфилий отваливался назад, втаскивая сеть в карбас. В этой ловушке было несколько семг, метались брусковатые сиги, но на них не обращали внимания.

Наконец подошел настоящий шторм, волны сразу покрылись пеной, полетела водяная пыль, от берега стал доноситься сплошной рев: там по песку шел чудовищный накат, доставая почти до тони. Море начало приобретать шоколадный цвет. Вторая ловушка была почти вся в карбасе, оставалось втащить только полотно правой стенки, когда карбас полез на волну, встал почти вертикально, падая в то же время набок, перевернулся, и оглушенная, задохнувшаяся Манька оказалась под ним.

Она уже ничего не понимала в темноте, ей хотелось света, воздуха, хотелось увидеть Перфилия, а она стукалась головой о скамейки, тонущая сеть запуталась у нее в ногах, тащила за собой. «Господи! – гудело у нее в голове. – Мамочка, ой, пропала я совсем, ой, пропала!»

Что-то шаркнуло ее по ноге, она брыкнулась, вцепилась в скамейку, прислонила лицо ко дну – тут еще оставалось немного пахнущего рыбой воздуха – и завывала. И опять, скользнув по ногам, схватили за бедра, за платье резкие злые руки, жестоко дернули вниз, Манька захлебнулась, давась, уже по-звериному вырываясь, изгибаясь, – а ее все так же больно, грубо рвануло кверху, прижало к пузатому рубчатому боку карбаса: Перфилий, отплеываясь, заголяя напряженную, с выступившими позвонками спину, карабкался на киль, тащил за собой Маньку.

– Чего под карбасом болтаешься, дура! – счастливо заорал он ей в самое ухо, крепко прижимая ее к себе, держась за осклизлый киль. – Держись! К берегу несет, выплывем!..

Манька, мотаясь, кашляя, ничего не видя сквозь слезы, задыхаясь от влажного соленого ветра, от водяной пыли, одной рукой вцепилась в киль, другой – обняла Перфилия за шею и замерла, заоченела.

– Ничего! – весело, надсадно орал Перфилий, ерзая сапогами по днищу карбаса. – Живем! Кто у моря не жывал, тот и горя не видал!

А море ревело, будто громадный буйный зверь, и, будто зверь, поднимало, опускало на своей спине опрокинутый карбас, все ближе поднося его к берегу. Уже через полчаса, поблескивая круглыми боками, карбас плясал в ревущем прибое. Волной подхватывало его, выносило на берег, потом волна разбивалась внизу, а карбас, окруженный шипящей пеной, сначала медленно, затем все быстрее мчался назад, чтобы снова, поднявшись на волне, броситься на берег.

Внезапно все стихло, слышно стало шипенье скатывающейся назад воды, а сзади послышался нарастающий, как от поезда, гул. Перфилий оглянулся и чуть не выпустил киль: неслась на них зловеющая, закрученная, поплескивающая сверху волна. Она ударила в карбас, который не успел взобраться на нее, перевернула его, понесла на берег, гулко хряпнула о песок, и последнее, что помнила Манька, – это как несло ее куда-то, ударяя лицом, спиной, локтями о песок, ломая, вывертывая руки и ноги.

Очнулась Манька на берегу. Перфилий стоял возле нее на коленях, приподнимал ей голову. Маньке стало стыдно, она оттолкнула его и села, оправляя платье, прикрывая заголившиеся ноги. Ее тошнило, голова кружилась, плавали в глазах мушки.

– Никак жива! – обрадовался Перфилий. – погоди тут, я сейчас...

Он тяжело побежал по песку туда, где, как живой, ерзал в пене лоснящийся карбас, забрел по пояс в воду, поймал конец, поволок карбас на берег. Потом, снова забредя в мутно-белый шипящий раскат, ухватил ловушку и, наклоняясь почти до песка, дрожа ногами, вытащил на берег и ее. Запыхавшись, хлопая голенищами сапог, мокрыми полами куртки, он вернулся к Маньке. Она еще сидела, не в силах подняться.

– Ну что ты! – притворно-укоризненно и бодро сказал Перфилий. – Ничего, ничего... А ну, берись за шею – понесу! – крикнул он, нагибаясь, тревожно заглядывая ей в лицо.

Но Манька отвернулась и встала, качаясь, как пьяная, со слабой виноватой улыбкой на белом лице. Они пошли рядом. Перфилий обнимал, поддерживал ее за спину, чувствовал ее худые лопатки, ширкал голенищами сапог, все больше оживляясь, посматривая на море, загораясь, говорил, смеялся над собой, над Манькой, над штормом, будто не он минуту назад держался за киль, хрипло, надсадно орал, напрягался и с ужасом глядел на волны.

4

В избе Перфилий растопил печку, стащил с себя все мокрое, переоделся, вынес штаны, свитер и куртку Маньке, ушел в сени и жадно закурил там, рассматривая дрожащие, в ссадинах руки.

– Скоро ль, что ль! – закричал он через минуту.

– Ой! Сейчас! – испуганно отозвалась Манька и заторопилась, с усилием стаскивая прилипшее к телу платье и рубашку. Одеваясь в сухое, путаясь с непривычки в длинных штанах, она покосилась, потрогала свою еще чуть припухшую грудь, тяжело вздохнула.

– Ну? – опять крикнул Перфилий из сеней.

– Иди! – смущенно разрешила Манька, торопясь, опуская глаза, стесняясь мужской одежды, быстро вынесла вон все свое мокрое, выжала и развесила на ветру.

– Ну-ка! – встретил ее Перфилий. – Поди сюда! Сейчас лечиться будем по последнему слову науки и техники...

Он посадил Маньку за стол, на лавку, достал из-под койки начатую вчера бутылку водки, налил в стаканы ей и себе.

– Выпьем! – сказал он жарко, глядя ей в лицо. – Пей, пей! Подыдем стаканы, содвинем их сразу... Это от простуды. С благополучным приземлением вас...

Он выпил первый, подышал открытым ртом и тотчас налил в кружки чаю. Манька тоже выпила, задохнулась, затрясла головой. Она быстро опьянела, зарозовела, зеленые глаза ее замерцали. Вся обмирая, ужасаясь, все больше, острее хотела она только одного: чтобы обнял, поцеловал ее Перфилий.

И Перфилий, взглянув на нее, вдруг замолчал и побледнел. Отодвинув кружку с чаем, он встал, легким хищным шагом вышел из избы, быстро посмотрел в обе стороны: берег был пустынен. Он вернулся, напряженно сел, стал жадно, открыто разглядывать Манькино лицо с пылающими щеками, влажные еще, курчавившиеся волосы, опущенные золотистые ресницы, уже понимая причину ее молчания, ее странности, опущенных глаз, сиплого голоса. Грозно, гулко шумело за стеной море, а в избе было тепло, сухо, трещала печка, пахло рыбой.

– Тебе лет-то сколько? – быстро спросил он изменившимся голосом.

– Идти мне надо... – слабо сказала Манька, приподнимаясь, и тут же села.

– Лет-то сколько тебе? – опять спросил Перфилий, стараясь заглянуть ей в глаза.

– Девятнадцать... – соврала, прошептала Манька, отвернулась и почувствовала, как холодеют у нее руки и кружится голова. И вспомнила вдруг, будто облитая холодом, свою летнюю тоску, свои слезы, весь стыд первой тайной любви, все отчаяние призрачных белых ночей – сладкий ужас охватил ее: сидел рядом Перфилий, смотрел на нее страшными глазами, сбывались ее сны! «Чего же это! – подумалось ей. – Ай, он кинется на меня сейчас! Мамочка, чего же это!» – и дико взглянула в лицо Перфилию.

– Эх! – вскрикнул он в нарочитом отчаянии и, легко притворившись тоже диким, придвинулся по лавке к ней, схватил, запрокинул ей лицо и, перекосив глаза, жадно и долго поцеловал ее, бесстыдно шаря свободной рукой по ее щуплому телу. Манька обомлела, помертвела...

– Чегой-то ты! – вырвалась она. – Проклятый! Да ты чегой-то!

– Сердце у меня слабое... – смущенно забормотал Перфилий, поднимаясь и двигаясь к ней.

– Дурак! – чуть не плача, хрипло закричала Манька. – Своих лахудров целуй... А меня не трожь! Я... я тебе не кто-нибудь!

– Маня! Манюша... – уже растерянно, покаянно просил Перфилий. – погоди ты, я ж к тебе по-хорошему!..

– Я тебе не какая-нибудь! Ленку свою целуй, ступай к ней. А я еще нецелованная! – с усилием выговаривала Манька, вся трясясь, и вдруг отвернулась, прерывисто дыша, расстегнула куртку, бросила на пол. – Уйди, проклятый! – сказала она низко. – Мне почту... Почту надо...

Она переоделась, уже не боясь, что войдет Перфилий, дрожа от ярости и какого-то сладкого, мстительного чувства, взяла сумку и, низко наклонив голову, не простясь с топтавшимся в сенях и курившим Перфилием, пошла.

Она отошла уже порядочно, когда, простоволосый, в опорках на босу ногу, догнал ее Перфилий.

– Вот тут у меня было... – забормотал он, суя в сумку ей шоколадные конфеты. – Это тебе на дорогу. Не обижайся, Маня... Простишь, а? А с Ленкой у меня все! – отчаянно и грустно сказал он. – Стерва она, гуляет...

– Уйди! – сказала Манька, глядя в сторону. – Отстань!

– В субботу в клуб придешь? – спросил Перфилий, быстро шагая рядом.

– Почта у меня, – по-прежнему глядя в сторону, сказала Манька.

– Ну в воскресенье! – не сдавался Перфилий. – Мне тебе что-то сказать надо... приходи, Маня, а?

– Не знаю, – помолчав, невнятно сказала Манька и ускорила шаг. Перфилий отстал.

«Как же! Так и приду, жди! – думала Манька, низко наклонив голову, слушая приглушенный расстоянием шум моря. – Дуру какую нашел... Чего я пойду! С конфетами...

подлизывается!» Она запустила руку в сумку, нащупала конфеты, сжала, но не бросила почему-то, как сперва хотела, так и шла, сжимая конфеты в руке.

На повороте она оглянулась, будто кто-то толкнул ее в спину: Перфилий стоял на дорожке, на том месте, где отстал, и смотрел ей вслед. Увидев, что Манька обернулась, он поднял руку, и Манька сейчас же заторопилась, заспешила, еле удерживаясь, чтобы не побежать. А пройдя с полверсты, она присела, настороженно осмотрелась, свернула в кусты, в золоти-сто-желтые березки, в мох и легла там, лицом на сумку. «Ах, да что же это приключилось... Как же я теперь письма им буду носить!» – думалось ей.

Лицо ее горело, голова кружилась от свежего, чистого, рыбацкого запаха Перфилия. Видела она близко его темные, шальные, перекошенные глаза, замирала, вновь переживая весь ужас, всю радость, весь стыд сегодняшнего дня. И уже весело, мстительно, томительно-уверенно звучали в ней все те же дикие и вещие слова: «Так бы и он скрипел и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить, и ни быть, и ни пить, и ни ись!»

На острове

1

Рейсовый пароход, на котором приехал ревизор Забавин, низко, вибрирующе загудел и, разворачиваясь, заваливаясь на правый бок, пошел дальше к глухим северным становищам. А Забавин даже не оглянулся на него: так надоели ему за трое суток этот грязно-белый пароход, грохот лебедок на стоянках, гул моторов, коротконогий капитан, старший помощник с наглым развратным лицом, грубые официантки.

Чем больше ездил Забавин по Северу, тем привычнее и скучнее ему становилось. Давно перестал он замечать красоту мрачных скал, красоту моря и северной природы, хотя когда-то очень все это любил.

И теперь, в карбасе, раздраженный, небритый, он не обращал внимания ни на странные очертания острова, похожего на сгорбившегося, уткнувшегося в воду зверя, ни на темно-зеленые камни под водой, ни на веселые разговоры вокруг, а хотел только скорее очутиться на берегу, в теплой комнате.

Когда карбас, пробравшись возле многочисленных катеров, моторок и ботов, пристал к деревянному пирсу, Забавин первый выбрался на берег и потопал ногами, с наслаждением чувствуя твердую землю.

На пирсе было тесно от громадных тюков высушенных сиреневых и бурых водорослей, от бочек с цементом, труб, рельсов, пачками ржавеющих возле стен низкого склада. Пахло очень сильно и дурманяще водорослями и послабее – рыбой, канатами, нефтью, досками, сеном, морем – вообще всем тем, чем пахнут обычно морские пристани.

Забавин вяло пошел по утрамбованному шлаку мимо цехов с глухо работающими машинами, мимо котельной, от которой в холодном утреннем воздухе тянуло теплом.

Кругом была унылая земля, покрытая белесым ягелем, с выпирающими там и сям буграми серого камня. Лошади и коровы одиноко бродили по ягелю, были худы, и на них, брошенных на этот дикий остров и совершенно лишним, ненужным ему, жалко было смотреть.

Забавин поморщился, вздохнул, спросил у рабочих контору, ему показали, и он пошел прямо туда, уже ни на что больше не глядя, думая только о том, как бы поскорее лечь спать – последнюю ночь на пароходе он почти не спал.

Ему отвели комнату, и он хорошо выспался. А проснувшись, побрился, смочил голову одеколоном и тщательно, до блеска причесался. Потом напился из тонкого стакана горячего крепкого чая своей заварки и с удовольствием выкурил сигарету. Наконец, достав папку с документами, завязав галстук, радуясь тому, что он хорош, опрятен и чист, что он избавился на эти дни от противного запаха соленой трески, который осточертел ему на пароходе, бодрый и свежий, пахнувший одеколоном и хорошим табаком, он пошел в контору, чтобы уже по-настоящему заняться тем, из-за чего он приехал сюда.

Весь этот день и два следующих Забавин провел в сухой работе, проверяя документы, которые в толстых папках носили ему в кабинет, осматривая чаны с агаровым студнем, дробилки, склады и лаборатории.

Все это время он был холоден и деловит, тогда как директор, радуясь свежему человеку, суетился, болтал, жадно расспрашивал Забавина об Архангельске. В ермолке, с выпученными глазами в вывороченных веках, с глубокими складками на сизых склеротических щеках, он всюду сопровождал Забавина, колыхаясь, тяжело ступая своими тумбообразными ногами и мучаясь одышкой. Рядом с огромным директором Забавин – худощавый, черноволосый, в

узких брюках – казался подростком и, чувствуя на себе взгляды молодых работниц, делался все холоднее и деловитее.

2

Однажды Забавину понадобилось послать телеграмму в Архангельск, и он пошел на метеостанцию, на которой, ему сказали, была рация. Он отыскал ее без труда по высокой радиомачте, от которой во все стороны к земле были туго натянуты тросы.

Поднявшись на крыльцо, Забавин постучал. Ему никто не ответил, тогда он отворил дверь и вошел в дом. В комнате, в которую он попал, было еще три или четыре двери. Одна из них вдруг распахнулась, и выглянул паренек-радист. Он был с тонкой шеей, большими розовыми ушами и с прической на лоб. Увидев Забавина, он сделал подозрительное лицо.

– Вы кто будете? – спросил он, стараясь говорить строже. И, не дослушав Забавина, выговорил, торопясь и хмурясь, что начальника метеостанции сейчас нет, что без нее он ничего не принимает для передач и что радиосвязь с Архангельском будет только вечером.

Забавин сказал, что зайдет вечером, и вышел на крыльцо, чувствуя за спиной недоверчиво-испуганный взгляд радиста. Погода была хороша, и Забавин решил побродить по острову.

Он поднялся к белой башне маяка и, оглядевшись, заметил впервые, как красиво море, как горит оно и туманится под солнцем. Возле маяка он набрел на деревянную заколоченную часовенку, а немного пониже заметил старое кладбище. Он пошел туда, вздыхая, стал бродить между осевшими могильными холмиками и вросшими в землю темными плитами.

На одной плите Забавин с трудом разобрал: «Под сим камнем покоится прах р. б. Смоленской губернии города Белой подпоручика и смотрителя маяка Василия Иванова Прудникова. Жизни его без перерыва было пятьдесят шесть лет. Преставился после путешествия на Соловец монастырь 1858 года сентября 6-го дня. Господи, прими дух его с миром».

«Н-да... – подумал с некоторой грустью Забавин. – Сто лет прошло... Сто лет!»

Он попытался еще что-нибудь прочесть, но другие плиты были еще старше, вовсе поросли мохом, и ничего нельзя было разобрать. Тогда Забавин сел на одну из плит лицом к морю и долго сидел неподвижно, поддавшись грустному очарованию осени, забытого кладбища, думая о тех, кто жил здесь, может быть, не одну сотню лет назад. Потом медленно, в глубокой, неприятной задумчивости спустился вниз и пошел к себе спать.

Но спалось ему плохо, он скоро проснулся и сел к окну. Пока он спал, к острову подошел туман. Туман был очень густ, и ничего не стало видно кругом. Скрылись радиомачта, маяк, скрылись цехи и трубы завода.

Козы собрались в кучу под окном и стояли неподвижно. Жизнь на острове, казалось, прекратилась. Туман поглотил все звуки, только на севере, не умолкая, гудел ревун, и звук его был печален и зловещ.

После того как побывал Забавин на кладбище, у него зародилось странное чувство к этому острову. Смотритель маяка, живший и умерший сто лет назад, когда здесь, наверное, было еще мрачнее, не выходил у него из головы.

И от тумана, от диких воплей ревуна, от вида неподвижных коз ему стало не по себе, захотелось разговора, людей, музыки... Он скоро собрался и пошел на метеостанцию, настороженно оглядываясь, с трудом находя дорогу в тумане и наступающих ранних осенних сумерках.

Начальником метеостанции оказалась девушка лет двадцати пяти с редким именем Авгу-ста. Она была маленькая, с тоненькими ножками, коротко пострижена, и от этого с особенно нежной, слабой шейкой, с круглым смуглым личиком и большими, мохнатыми от ресниц глазами.

Все на острове звали ее просто Густей. Когда она улыбалась, щеки ее вспыхивали слабым румянцем, тотчас розовели и маленькие уши. При взгляде на нее Забавину стало щекотно на

душе, захотелось обнять ее, погладить короткие пушистые волосы, ощутить на шее у себя ее теплое дыхание...

Отдав радисту текст телеграммы, он попросил разрешения посидеть, послушать радио. Густя быстро, охотно и, как показалось Забавину, радостно повела его к себе, в свою маленькую комнату, зажгла настольную лампу и пошла ставить чай.

Пока она доставала чашки, пока тонкими руками расставляла их на столе, позвякивая ложками, сыпала сахар в сахарницу, Забавин сел, одергивая свои задирающиеся узкие брюки, кладя по привычке ногу на ногу, включил приемник, засветившийся сумеречным гранатовым светом, поймал какую-то близкую норвежскую станцию, закурил и сморщил губы от наслаждения.

С необыкновенной пристальностью разглядел он вдруг во всех подробностях и милую хозяйку, и эту крохотную комнату с одним окном на юг, с десятком книг на этажерке, ковриком и узкой, тщательно застеленной и, по-видимому, жесткой кроватью... Ему вспомнилась откровенная жадность, с которой смотрели на него работницы в цехах, и, чтобы не улыбнуться, он стал думать об острове, о кладбище, о том, что за окном темнота и туман.

Но странно, теперь эти мысли не тревожили, не угнетали его, наоборот, с тем большим наслаждением слушал он норвежскую музыку, треск печи в большой комнате, следил исподтишка за хозяйкой.

– Ах, черт! – сказал Забавин, глядя на варенье и на Густины руки. – Простите... Знаете, едешь, едешь – и всегда кипятилок, черствые булки, одиночество... Ах, черт! В кои веки повезет, как сегодня!

– А! – произнесла Густя, опуская глаза.

– Seriously! – сказал оживленно Забавин. – На дворе туман, ревун этот проклятый, даже страшно. Когда едешь один или сидишь вечером в какой-нибудь комнате для приезжих, все думаешь: давно ли мечтал о любви, о каких-то подвигах, о счастье – и вот ничего, и мотаешься по свету, ревизуешь, отвыкаешь от семьи...

Забавин вдруг перехватил странный взгляд Густы, спохватился и покраснел.

– Извините... – пробормотал он, проникаясь внезапным отвращением к себе. – Вам неинтересно, а меня прорвало: молчал целую неделю, и такой вечер...

– Ничего, пожалуйста! – сказала Густя, наливая Забавину чай. – Пейте!

Забавин засмеялся, взял чашку. Они разговорились, и он скоро узнал, что она давно работает здесь, получает по договору уже двойную ставку, что она скучает, хочет уехать в Архангельск или в Ленинград.

Поговорив о скуке, перебрав общих знакомых, заговорили о любви и счастье, и оба еще больше оживились.

– Вот вы говорите о сознательной любви, – вдруг сказал Забавин, хотя Густя вовсе не говорила о сознательной любви. – Все рассуждают о любви, говорят, и решают, и судят, кому кого любить. Писатели пишут о любви, читатели устраивают конференции и спорят, достоин ли он ее или она его, кто из них лучше, выше и сознательней, кто более подходит веку коммунизма. А между тем каждый из нас на своем месте никогда не может разобраться, что такое любовь! И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что в любви очень малую долю играют такие качества, как ум, талант, честь и прочее, а главное – совсем другое, что-то такое, о чем не скажешь и чего никак не поймешь. Да что далеко ходить! Я знаю одного парня – дурака, пьяницу и наглеца, человека без чести и совести. И представьте, его страшно любят женщины, причем женщины умные, интеллигентные. И он знает, что его любят, занимает у них деньги, относится к ним по-скотски, и они плачут от обиды, я сам видел! Почему?

– Наверно, вы не замечаете в нем того, что замечают эти женщины, – серьезно сказала Густя.

– А! Что они в нем замечают! Ум? Талант? Широту души? Так нет же – дурак, наглый, ленивый! И не лицо даже у него, а заплывшая морда.

В комнате радиста попискивало, стучал ключ, наконец все смолкло, слышались шаги.

– Ну, я все принял и передал... Сводка на столе! – крикнул радист и хлопнул наружной дверью. – На завтра – «ясно»! Я в клуб прошвырнусь! – крикнул он уже с улицы, затопал по крыльцу, а в доме стало тихо.

Выражение лица Густы сразу изменилось, она как будто чего-то испугалась, оглянулась на темное окно, пристально серьезно посмотрела на Забавина и тотчас, покраснев, опустила глаза. А Забавин, будто не было ему тридцати пяти лет, не было позади ни армии, ни семьи, ни работы – почувствовал внезапно колющее волнение и сухость во рту, то есть то именно, что чувствовал он в молодости, когда влюблялся в девочек-школьниц и целовался с ними в тихие белые ночи.

– И еще тоже счастье... – начал тихо Забавин, и по тому, как он это сказал, Густя поняла, что он скажет сейчас что-то серьезное, хорошее, успокоилась и улыбнулась ему, расширяя и останавливая на его лице прекрасные бархатистые глаза.

– Надеются обычно на будущее, – продолжал Забавин, прихлебывая чай, ощущая темноту за окном и холодное дыхание моря. – Надеются на будущее и живут мелко, суетливо, неинтересно... Живут, не видя рядом ничего хорошего, ругают жизнь, уверенные в том, что вот настанет пора и придет счастье. Все так, и вы так, и я. А между тем счастье у нас во всем, везде – счастье, что вот мы с вами сидим и пьем чай, что вы мне нравитесь, и вы знаете, что нравитесь.

Забавин запнулся, передохнул, усмехнулся как бы сам над собой, а Густя, вся пунцовая, не смела поднять глаз.

– Хочется, чтобы пришел кто-то сильный и заставил нас всех оглянуться. Ведь чем дальше, чем больше мы живем, тем счастья меньше! Человечество всегда юно, но мы-то, мы стареем! Мне сейчас тридцать пять, вам...

– Двадцать пять, – прошептала Густя, решила поднять пылающее лицо и прямо взглянула в глаза Забавину.

– Ну вот! А через год мне будет тридцать шесть, вам двадцать шесть – мы оба и все тоже постареем на год, что-то от нас уйдет, какая-то частичка бодрости, какое-то количество клеток отомрет навсегда, а там еще и еще из года в год... И главное, будет стареть не только тело, не только мы будем сидеть, лысеть, у нас будут появляться разные болезни, которых теперь нет, но и души будут стареть, понемногу, незаметно, но будут – какое же тут счастье? Нет, счастья в этом никакого нет, и я не понимаю людей, которые все ждут, вот придет лето, и я буду счастлив, а когда приходит лето и он не счастлив, он думает: вот настанет зима, и я буду счастлив. Да что говорить!

– В чем же счастье? – тихо спросила Густя.

– В чем? Я тоже думаю: в чем? Вы вот хотите вырваться с этого острова, ждете чего-то, думаете, пройдет год, два, три – и я буду счастлива! Нет же! Вы сейчас именно счастливы, потому что ничего у вас не болит, вы молоды, у вас прекрасные глаза, потому что теперь, когда вам двадцать пять, смотреть в ваши глаза – наслаждение, и у вас важная работа, и море, и этот остров... Подумайте!

– Легко говорить! – сказала Густя, недоверчиво улыбаясь.

– Да! Конечно, свет велик, прекрасных мест множество, и в конце концов, почему именно остров! Конечно, Архангельск – место куда более интересное, чем этот остров. Когда вы думаете, да и я когда сейчас думаю об Архангельске, или Москве, или Ленинграде, нам представляются театры, огни, музеи, выставки, шум, движение и все такое... Жизнь, одним словом! Правда! А между тем, когда я там, дома, я ничего этого не замечаю, я начинаю думать обо всем этом только издали, а когда я приезжаю в Архангельск, я вдруг узнаю, что у меня заболел сын,

что на работе вечером совещание, что торопят с отчетом... И начинаешь крутиться как белка в колесе, вовсе не видишь никаких театров и прочего. Чем же я лучше вас живу? Так сказать, в высшем смысле? Нет, нет, вы гораздо счастливее меня: вам двадцать пять, а мне тридцать пять!

– В этом ли дело! – сказала Густя, поднимая вверх лицо и вздыхая.

– В этом! Рано или поздно вы уедете, конечно, будете жить в Ленинграде, видеть Неву, мосты, Исаакий... Но, поверьте мне, когда вы уедете отсюда, вам обязательно будет вспоминаться этот остров, жители его, море, этот запах водорослей, перистые облака, солнце, грозы, северное сияние, штормы, и через много лет вы поймете, что счастливы были именно здесь.

– Не знаю, – задумчиво произнесла Густя. – Я об этом как-то не думала...

– Да, почти всегда так. Мы жалеем об ушедшем: издали лучше видно.

Забавин волновался и, глядя на Густю, думал помимо воли, как было бы хорошо долго-долго жить с ней где-нибудь. Он расстраивался от этих мыслей, понимая свое бессилие что-нибудь изменить в жизни, но не думать об этом не мог и не мог никак уйти от Густы, хотя было уже поздно.

Он собрался уходить тогда только, когда вернулся из клуба радист, прошел к себе, стал ловить джаз и насвистывать.

Густя вышла с Забавиным на крыльцо, и они долго стояли, привыкая к темноте.

– Я провожу вас, а то здесь тросы натянуты, – сказала Густя и взяла его за руку. Рука ее была шершавая, горячая и дрожала. «Милая!» – мысленно поблагодарил ее Забавин и тут же с грустью подумал о себе.

Туман разошелся, ревун давно умолк, над головой горели маленькие пронзительные звезды и тек Млечный Путь, разорванный, раздвоенный, но ясный.

Быстро освоившись с темнотой, Густя пошла впереди, а Забавин шел сзади, еле различая ее светлый платок, неуверенно нащупывая среди мха каменистую тропу. Прошло несколько минут в молчании, потом Густя остановилась, и Забавин тотчас увидел внизу редкие желтые огоньки поселка.

– Ну вот... – сказала Густя. – Теперь вы сами дойдете, не заблудитесь. До свидания.

– Погодите еще немного, – попросил Забавин. – Я покурю.

– Хорошо, – подумав, ответила Густя, опять взяла его за руку, прошла несколько шагов и остановилась возле какой-то ограда, прислонясь к ней и повернувшись к Забавину лицом. Забавин закурил, стараясь разобрать выражение лица Густы при свете спички, но ничего не разобрал.

Внизу мерно и широко шумел прибой, шел прилив, холодило. Ветер нес особенно грустный запах осеннего моря. А само море было глубоко и таинственно черно.

Забавин внезапно заметил, что лицо Густы то бледно возникает, то пропадает в темноте. Он оглянулся и через три-четыре секунды увидел высокую белую звезду маяка, окруженную сиянием, вспыхнувшую на мгновение ярким светом в ночи и снова погасшую. Потом звезда опять вспыхнула и погасла, и так повторялось все время, и было странно и приятно видеть этот мгновенный немой свет.

Забавин опять повернулся к Густе.

– Маяк, – сказал он без выражения. – Нам светит маяк.

Потом, как бы видя себя со стороны и осуждая, нагнулся и крепко поцеловал ее в неподвижные потрескавшиеся губы.

Ничего не сказав, Густя отвернулась от него. Забавин взял ее за худенькие плечи и повел в темноту, в какие-то шуршащие кусты и мелкорослые жесткие деревья с терпким запахом осени, по мягкому мху, сквозь который чувствовался твердый холодный камень, – дальше от света маяка. Наконец они остановились: впереди была глухая тьма и гул моря.

– Зачем? – печально сказала она. – Вы меня совсем не знаете! А главное, зачем?

Забавин опять поцеловал ее. И когда он ее целовал, лицо его было скорбно и глаза закрыты, хотя он и думал, что, может быть, это и есть то счастье, о котором они говорили недавно.

– Не надо больше, пойдете назад, – тихо сказала она.

– Не сердитесь! – так же тихо попросил Забавин и покорно пошел за ней.

У ограды, где они поцеловались в первый раз, Густя остановилась, всхлипнула и прижалась лицом к холодному плащу Забавина.

– До завтра, – сказала она наконец, вытирая слезы и вздыхая. – Я теперь не буду спать всю ночь... Зачем, зачем все это?

Оттолкнув его, она быстро пошла, почти побежала домой и показалась вдруг очень жалкой, когда он смотрел ей вслед. Он долго потом стоял и смотрел то на вспышки маяка, то на далекий теплый свет в окне Густы. Лицо его горело, в горле першило, и он все кряхтел и морщился, не в силах уйти, и сердце его билось медленно и тяжело.

3

Пароход, на котором Забавин собирался уезжать в Архангельск, должен был зайти на остров через неделю. Впереди было семь необыкновенных, счастливых дней! Но на другое утро в контору, где работал Забавин, пришел радист с метеостанции и молча подал ему телеграмму. На бланке было написано: «Срочно ждем Архангельске тчк Парохода не ждите зпт сегодня или завтра остров зайдет шхуна Сувой тчк Максимов».

Забавин похолодел. Радист ушел. Забавин хотел продолжать работу, но уже ничего не понимал, что ему говорили, не помнил никаких цифр. Кое-как справившись с делами и подписав последние документы, он отметил командировку у директора и пошел домой.

А вечером, когда Забавин собрался последний раз к Густе, к острову подошла шхуна. Она появилась внезапно, как судьба, и о ней узнали по короткому вою сирены, по огням – зеленому и белому – на мачтах и по радиограмме, которую приняли сначала на маяке, потом на метеостанции. Забавин, волнуясь, послал ответную телеграмму, и шхуна осталась на якоре до утра.

До двух часов ночи Забавин и Густя ходили по острову, вспугивая куропаток, которые взлетали с глухим шорохом, сидели на холодных шершавых камнях, любя друг друга все сильнее и больше, и все время им светили огни на шхуне, напоминая о скорой разлуке.

Потом они пришли на метеостанцию, и опять сумрачно, гранатово светился радиоприемник, играла тихая веселая музыка, бормотали дикторы, опять они пили чай, говорили, но мало – больше глядели друг на друга и не могли наглядеться...

– Что это у нас? – спрашивала Густя. – Это счастье? Скажите! Я не знаю...

– Ну-ну, – небрежно отвечал Забавин. – Просто приятный вечер.

– Боже мой! – говорила она. – Как же это вы... Как же вы едете? Вдруг едете! Только появились и уже едете!

– Подари на прощанье мне билет... – протяжно сказал Забавин. – На поезд куда-нибудь...

– Что? – не поняла Густя. – Какой билет?

– Песня такая... И мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился в путь! Веселая такая песня! Не знаете?

– Вы сказали... – Густя покрутила радио. – У вас сын есть?

– Двое... двое! Мальчик и девочка. Так-то, милая!

Занялся неохотный, скупой рассвет. Окно в комнате побелело. Забавин встал, мельком взглянул в зеркало, увидел свое бледное, несчастное лицо, подошел к окну, протер рукой запотевшее стекло.

Небо было светло-голубое, пустое, будто стеклянное, море – огромное, выпуклое и спокойное, а метрах в двухстах от берега, как наваждение, неподвижно стояла черная шхуна на якорь, и на мачтах еще горели бледные огни.

Куда хватало глаз, все застыло – на берегу и на воде, – было неподвижно, безлюдно и мертво. Внезапно из-за камней появилась крупная темная собака, деловито пробежала мимо, держа хвост на отлете, и вид ее был столь неожидан, что Забавин вздрогнул.

Он отвернулся от окна и взглянул на Густю. Она сидела у стола, прижав руки к груди, где сердце. Глаза ее были закрыты, маленькое бледное личико казалось спокойным, как у спящей. Забавин осторожно надел плащ.

– Густя... пора, – сказал он сипло и стал закуривать. Но почему-то он не чувствовал крепости сигареты.

– Что, уже? Подождите! Я сейчас... Я вас провожу! – заторопилась Густя.

Забавин опять повернулся к окну, сгорбился, слушая, как прерывисто дышит, ходит по комнате Густя.

Вместе вышли они на крыльцо. Забавин вдохнул холодный, резкий воздух, поежился, посмотрел на разгоравшуюся зарю, на седой от инея мох. Они пошли рядом, но не по тропе, а прямо к морю. Мох хрустел у них под ногами. Опять появилась собака, хрупая, побежала за ними...

Был отлив, карбас на катках оказался далеко от воды. Они долго сталкивали его, раскраснелись, запыхались, наконец влезли и оттолкнулись от берега.

Забавин взялся за весла, стал медленно выгребать. Собака на берегу сосредоточенно, вытянув морду, нюхала им вслед и вдруг тонко заскулила, переступая мокрыми лапами по песку. Густя сидела на корме, особенно смуглая в этот час, смотрела поверх головы Забавина, правила кормовым веслом.

Вода была необычайно прозрачна. Камни, песок, водоросли, похожие на конские хвосты, и листья морской капусты тихо проплывали под ними. Иногда Забавин переставал грести, засматривался на неподвижно висящих смугло-розовых медуз и удивлялся, что может в такую минуту интересоваться чем-то.

Карбас глухо стукнул о борт шхуны. Тотчас на палубу поднялся капитан в синей телогрейке и высоких сапогах. Он был без шапки, с белесыми волосами и молодым, скуластым, опухшим от сна лицом.

– Товарищ Забавин? – сильно окая, спросил он, нагибаясь сверху. – Давайте конец!

Забавин подал ему чемодан и бросил веревку. Потом повернулся к Густе, покачиваясь, сделал три шага к корме. Густя поднялась и стояла, смотря сквозь застилавшие ей глаза слезы в лицо Забавина.

Они поцеловались долго и крепко, до боли, потом Забавин, задохнувшись, отвернулся и полез на борт шхуны. Капитан, смотревший на них с серьезным лицом, помог ему и быстро спустился в кубрик на носу.

Через минуту из кубрика, на ходу натягивая телогрейки, стали вылезать заспанные матросы, и шхуна ожила. Заиндевшая палуба покрылась темными следами от сапог, застучал дизель, зазвенела якорная цепь. Поднялся еле заметный ветерок, стал морщить гладкую воду. У Густы упала на лоб прядь волос, она не поправила ее, сидела неподвижно.

Капитан сам стал к штурвалу и, посмотрев на Забавина, дал малый ход. Шхуна тронулась, карбас с Густей стал отделяться. На носу стоял лохматый матрос, закидывал веревку с грузом, хрипло кричал:

– Восемь!... Семь!... Семь с половиной!

В глубине по-прежнему были видны зеленоватые камни, темные пятна водорослей и медуз.

Забавин стоял у борта и смотрел, как все дальше уходят берег и карбас. Густя как осталась, так и не шевельнулась больше, сидела на корме. Черный нос карбаса, высоко поднятый, под ветром тихонько поворачивался к берегу. Забавин слышал пустой звон в голове, смотрел на остров, на карбас, глаза его были сухи и саднили.

Выйдя из опасного места в открытое море, шхуна развила ход, капитан передал штурвал матросу, вышел из рубки и стал рядом с Забавиным.

– Завтра к вечеру будем в Архангельске, – негромко сказал он.

Остров стал уже тонкой голубоватой полоской, можно было различить еще только белую башенку маяка, больше ничего. Началась морская крупная зыбь, корпус шхуны дрожал от дизеля. Наконец и полоска скрылась, кругом была вода – покатые гладкие волны до самого горизонта. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело.

– Ветерок будет, – зевая, сказал капитан. – Эй! Эй! Приборочку, живо! – вдруг резко крикнул он. – А вы пожалуйста в кубрик, – пригласил он Забавина.

Спустившись в кубрик, они сели за узкий стол друг против друга и закурили.

– Выпить хотите? – спросил капитан и полез в шкафчик.

Забавин выпил и передернулся всем телом.

– Ну как? – спросил капитан. – Еще?

– Все в порядке, старик! – сказал Забавин. – Спасибо!

– Это что – супруга ваша была? – помолчав, спросил капитан.

– Нет, – ответил слабо Забавин, и у него задрожали губы.

– Лягте, отдохните, – предложил капитан. – Вот эта койка у нас свободная.

Забавин послушно разделся и лег на койку, узкую и жесткую, со спасательным поясом в головах. Кубрик едва заметно поднимало и опускало. За бортом звенела вода.

«Ну вот и счастье, – подумал Забавин и сейчас же увидел лицо Густы. – Вот и любовь! Как странно... Любовь! Подари на прощанье мне билет...»

И он лежал и, скорбно сжав губы, все думал о Густе и об острове, все виднелись ему ее лицо и глаза, слышался голос, и он не знал уже, во сне ли это, наяву ли...

Звенела за бортом вода, и звон этот был похож на звук бегущего, веселого, никогда не умолкающего ручья.

Трали-вали

1

Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке.

Сторожка его нова и пуста. Даже печки нет, вырезана только половина пола, навалены в сенях кирпичи и сырая глина. По бревенчатым стенам висит из пазов пакля, рамы новые, стекла не замазаны, тонко звенят, отзываются пароходным гудкам, и ползают по подоконникам муравьи.

Просыпается Егор, когда садится солнце и все вокруг наполняется туманным блеском, а река становится неподвижно-золотой. Он зевает, зевает со сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до судорог. Почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками свертывает папиросу и закуривает. А закурив, страстно, глубоко затягивается, издавая губами всхлипывающий звук, с наслаждением кашляет со сна, крепко дерет твердыми ногтями грудь и бока под рубахой. Глаза его увлажняются, хмелеют, тело наливается бодрой мягкой истомой.

Накурившись, он идет в сени и так же жадно, как курил, пьет холодную воду, пахнущую листом, корнями, оставляющую во рту приятно-оскоминный вкус. Потом берет весла, керосиновые фонари и спускается вниз, к лодке.

Лодка его набита мятой осокой, набрала воды, осела кормой и отяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лень, и, вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он раскорячивается, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку с берега.

Плес у Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырех бакенах, два из которых стоят наверху, два – внизу. Каждый раз он долго соображает, куда ловчее сначала грести: вверх или вниз. Он и сейчас задумывается. Потом, устраиваясь, стучит веслами, уминает осоку, пихает ногами фонари и начинает выгребать против течения. «Все это трали-вали...» – думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая на темнеющие, розовеющие, отраженные в спокойной воде берега. Лодка оставляет за собой темный на золоте воды след и аккуратные завитки по бокам.

Воздух холодеет, ласточки носятся над самой водой, пронзительно визжат, под берегами всплескивает рыба, и при каждом всплеске Егор делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов, из лодки – рыбой, керосином и осокой, а от воды уже поднимается едва заметный туман и пахнет глубиной, потаенностью.

По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фонари на бакенах, лениво, картинно, почти не огребаясь, спускается вниз и там зажигает. Бакены горят ярко и далеко видны в наступающих сумерках. А Егор уже торопливо выгребает вверх, пристаёт возле сторожки, моется, смотрится в зеркало, надевает сапоги, свежую рубаху, туго и набекрень натискивает морскую фуражку, переезжает на другой берег, зачаливает лодку у кустов, выходит на луг и зорко смотрит вперед, на закат.

На лугу уже туман, и пахнет сыростью.

Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне, идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гаснущим уже закатом.

Егор поднимается на цыпочках, вытягивает шею и замечает наконец вдали розовую косынку над туманом.

– Э-ей! – звучным тенором окликает он.

– А-а... – слабо доносится издали.

Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, тропой. Свернув с тропы, он ложится, обзеления коленки и локти о траву, и с колотящимся сердцем всматривается в ту сторону, где показалась ему розовая косынка.

Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поперх тумана. По-прежнему видит он только закат, полоску леса, черные шапки стогов – смутно и сизо вокруг него. «Спряталась!» – с нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется. Он надувается, сдерживая дыхание, лицо наливается кровью, фуражка начинает резать ему лоб. Вдруг он видит совсем рядом съезжившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности.

– Стой! – дико вопит он. – Стой, убью!

И, топоча сапогами, гонится за ней, а она с визгом, со смехом убегает от него, роняя что-то из сумки. Он быстро догоняет ее, вместе валятся они на мягкие, пахнущие свежей землей и грибами кротовые кучи и крепко, счастливо обнимаются в тумане. Потом поднимаются, разыскивают уроненное из сумки и медленно бредут к лодке.

2

Егор очень молод, но уже пьяница. Пьяницей была и его жена, распущенная, потрепанная бабенка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Пошла в деревню за водкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни, подошла к реке против сторожки, закричала:

– Егор, зараза, выходи, глянь на меня!

Егор вышел, радостный, в накинутах полушубке, в опорках на босу ногу, и видел, как она шла, помахивая сумкой, как принялась плясать посреди реки, хотел крикнуть, чтобы поскорее шла, и не успел: на его глазах проломился лед, и мгновенно ушла под воду жена.

В одной рубахе, скинув полушубок и опорки, побежал он босиком по льду, и, когда бежал, все потрескивал, мягко колыхался, подавался под ним лед, – упал, дополз на животе до полыньи и только посмотрел на черную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно. А через три дня заколотил сторожку и ушел на зиму к себе в деревню за три километра, на другую сторону.

Весной же, на разливе, перевозил он как-то молодую Аленку из Трубецкого, и, когда та стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал:

– Ну ладно, ладно... Это все трали-вали! А ты когда зайди ко мне-то: один живу, скучно. Да и постирать там чего, а то завшивеешь без бабы, а я тебе рыбы дам.

А когда недели две спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе в деревню, зашла под вечер к нему в сторожку, у Егора так забилося сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился Егор из-за девки, побежал на улицу, развел из щепок костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать Аленку про жизнь, замолкая вдруг на полуслове, смущая ее до слез и сам смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в сенях, а через реку перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами.

Теперь Аленка часто приходит к нему и каждый раз остается в сторожке дня на три. И когда она с ним, Егор небрежен и насмешлив. Когда ее нет, он скучает, места себе не находит, все валится у него из рук, он много спит, и сны снятся ему нехорошие, тревожные.

Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у него крупное, рыхлое, неподвижно-сонное и горбоносое. На летнем солнце, на ветру загорел он почти до черноты, и серые глаза его кажутся синими от этого. «Недоделанный я какой-то! – жалуется он, выпив. – Черт меня делал на пьяной козе!»

Этой весной он остается вдруг у себя в сторожке на Первое мая. Почему не пошел он в деревню, как сперва хотел, он и сам не знает. Валяется на сбитой, неприбранной постели, мрачно посвистывает. В полдень прибегает из деревни сестренка и тоненько вопит с того берега:

– Его-о-ор!..

Егор сумрачно выходит к воде.

– Его-орка, тебе велели иди-ить...

– Кто велел-то? – помолчав, кричит Егор.

– Дядя...а-ася и дядя...е-ея...

– А для чего они сами не пришли-и?

– Они не...о-гут иди-ить, они пья-аныи-и...

Лицо Егора изображает тоску.

– Работа у меня, скажи, рабо-ота! – кричит он, хотя никакой работы у него, конечно, нет. «Эх, и гуляют сейчас в деревне!» – горько думает он и воображает пьяных родных, мать, столы с закуской, пироги, непрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, флаги на избах, кино в клубе, мрачно плюет в воду и лезет на обрыв, в сторожку.

– О-о-ор... иди-и... – звенит, манит его с того берега голос, но Егор не слушает.

Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой, ленив необыкновенно, денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении – и по два. Работа бакенщика, легкая, стариковская, развратила, избаловала его окончательно.

Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора. Чаще всего бывает это вечером. Лежа рядом со спящей Аленкой, вспоминает Егор, как служил во флоте на Севере. Вспоминает корешей, с которыми, конечно, давно потерял всякую связь, вспоминает их голоса, их лица и даже разговоры, но неясно, лениво...

Вспоминает Егор низкий сумрачный берег, северное море, жуткое полярное сияние зимой, сизые маленькие изуродованные елки, мох, песок; вспоминает, как горел по ночам маяк, как ослепительно и дымно мерцал его свет, лучами скользя по мертвому лесу. Но думается ему обо всем этом равнодушно и отдаленно.

Иногда же его охватывает, бьет странная дрожь и странные, дикие мысли лезут в голову: что берег и сейчас такой же, и сейчас стоят на нем бараки с шиферными крышами, сверкает по ночам маяк, а в бараках моряки, койки в два яруса, треск радиоприемника, разговоры, писание писем, курево... Все-все такое же, а его нет там, как будто он умер, он даже как бы и не жил там, не служил, а все это так... наваждение, сон!

Тогда он встает, выходит на берег, садится или ложится под кустом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темноту на отраженные в реке звезды, на далекие яркие огоньки бакенов. Притворяться ему в такие минуты не перед кем, и лицо его становится грустным, задумчивым. Томно у него на сердце, хочется чего-то, хочется уехать куда-нибудь, хочется иной жизни.

На Трубецком плесе медленно возникает и так же медленно пропадает густой, бархатистый, трехтоновый гудок.

Немного погода показывается пароход, ярко озаренный светом, торопливо шлепает плечами, шипит паром и снова гудит. И шум его, плеск, гудение гулко, знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и еще сильнее тоскует.

Он воображает дальнюю дорогу, воображает, как спят по каютам молодые женщины, пахнущие духами и едущие неизвестно куда. Он воображает, как возле машинного отделения сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом. Палубы и перила покрыты росой, на мостике стоят зевающие вахтенные, перекатывают руль. На верхней палубе сидят одинокие пассажиры, завернулись в пальто, смотрят в темноту, на огоньки баке-

нов, на редкие красные костры рыбаков, на зарево фабрики или электростанции – и все это им кажется прекрасным, чудным и так манит сойти где-нибудь на маленькой пристани, остаться в тишине, в росистом холоде. И обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, поджав ноги, и просыпается на секунду от гудков, от чистого воздуха, от толчка парохода о пристань...

Идет мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей землей? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И почему так тоскует он и немилы ему росистые луга и тихий плес, немила легкая, вольная, редкая работа?

А ведь прекрасна же его родина – эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни – каждая на особицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он вечерами, где он целовался, прячась во ржах, где дрался не раз до крови, до беспамятства; прекрасен же сизый дым костра над рекой, и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными закатами в полнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам! Прекрасна и осень с ее скукой, с дождем, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютом сторожки!

Так почему же просыпается он, кто зовет по ночам его, будто звездный крик гудит по реке «Его-о-ор!»? И смутно, и знобко ему, какие-то дали зовут его, города, шум, свет. Тоска по работе, по настоящему труду – до смертной усталости, до счастья!

И, волоча полушубок, идет он в сторожку, ложится к Аленке, будит ее и жалко и жадно прикидается, прижимается к ней, чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать. Зажмурившись, трется он лицом о ее плечо, целует ее в шею, слабея от радости, от горячей любви и нежности к ней, чувствуя на лице ответные, быстрые и нежные ее поцелуи, уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда.

Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко. И Аленка, как всегда, уговаривает Егора остепениться, бросить пить, пожениться, поехать куда-нибудь, устроиться на настоящую работу, чтобы его уважали, чтобы писали про него в газетах.

И уже через полчаса – успокоенный, ленивый и насмешливый – через полчаса бормочет Егор свое любимое «трали-вали», но бормочет как-то рассеянно, не обидно, желая втайне, чтобы она еще и еще шептала, чтобы еще и еще уговаривала его начать новую жизнь.

3

Часто в сторожке у Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотах. Каждый раз при этом происходит одно и то же: проезжие глушат внизу мотор, и кто-нибудь поднимается к Егору в сторожку.

– Здорово, хозяин! – наигранно бодро говорит проезжий.

Егор молчит, посапывая, ковыряет ивовую вершу.

– Здравствуйте! – уже слабее повторяет проезжий. – Переночевать нельзя ли у вас?

И опять ответом ему молчание. Егор даже дышать перестает, так занят вершей.

– А сколько вас? – спустя долгое время спрашивает он.

– Да трое только... Мы как-нибудь... – с робкой надеждой говорит проезжий. – Мы запла- тим, не беспокойтесь...

Егор равнодушно, медленно, с паузами расспрашивает, кто такие, куда едут, откуда... И когда спрашивать уже нечего, с видимой неохотой разрешает:

– Ну что ж, переночевать можно.

Тогда все вылезают из лодки, подыскивают место, складывают вещи, вытаскивают и переворачивают лодку, носят в сторожку рюкзаки, канистры, котелки, мотор. В сторожке начинает пахнуть бензином, дорогой, сапогами, делается тесно. Егор оживляется, подает каждому руку, чувствует прилив веселости, чувствует предстоящую выпивку. Начинает он суетиться, начи-

нает говорить без умолку, преимущественно о погоде, покрикивает на Аленку, разводит возле сторожки большой яркий костер.

А когда разливают водку, Егор опускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему недолго. Потом берет своей крепкой, темной рукой со сбитыми ногтями стакан, твердо и весело говорит: «Со знакомством!» – и выпивает, каменея лицом.

Пьянеет он быстро, радостно и легко. Пьянеет – и начинает врать складно, убежденно, с наслаждением. Врет он главным образом про рыбу, так как уверен почему-то, что проезжие интересуются только рыбой.

– Рыба, – говорит он, осторожно и как бы нехотя закусывая, – у нас всякая... Правда, мало ее стало, н-но... – он хакает, делает паузу и понижает голос: – Но кто умеет... Я вчера, между прочим, щуку поймал. Щучка, правду сказать, небольшая – полтора пуда всего... Утром поехал по бакенам, слышу, под берегом плесканула. Я сразу закидую в воду, пока с бакенами возился, она и села: крючок аж в пузо зашел!

– Где же щука-то? – спрашивают его.

– А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал, – не моргнув глазом, отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука.

И если кто-нибудь усомнится – а сомневаются постоянно, и Егор ждет этого с нетерпением, – он вспыхивает и уже, как хозяин, тянется к бутылке, наливает себе – ровно сто пятьдесят граммов, – быстро выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, бездумно-отчаянные глаза и говорит:

– А хочешь, завтра поедим? На чего спорим? У вас какой мотор-то?

– «ЛМ-1», – отвечают ему.

Егор поворачивается и минуту смотрит на мотор, прислоненный к углу.

– Этот? Ну, это трали-вали! – пренебрежительно говорит он. – У Славки – болиндер, это у него мой, я ему привез с флота, сам собрал. Зверь, а не мотор: двадцать километров в час! Это еще против воды... Ну? Давай на мотор! Ставлю болиндер против твоей трали-вали! Ну? Один такой поспорил – ружье проспорил. Показать ружье? Заказная «тулка», бьет, как зверь, я на нее зимой, – он секунду думает, стекленея глазами, – триста пятьдесят зайцев взял! Ну?

И покоробленные, немного растерявшиеся гости, чтобы хоть как-то уколоть его, тотчас спрыснут о печке:

– Что ж, парень, без печки живешь?

– Печка? – уже кричит Егор. – А кто может скласть? Ты можешь? Склади! Глина, кирпич есть, матерьял, словом.

Склади, полтора ста сразу даю, как пить дать! Ну? Склади! – настаивает он упорно, зная, видя, что просьба его невыполнима, а раз невыполнима, то победа опять его. – Ну? Склади!

И в ту же минуту, заметив, что водка еще есть, что гости смеются, он выходит в сени, надевает там морскую свою фуражку с «крабом», распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова.

– Разрешите? – спрашивает он с пьяной, нарочитой почтительностью и тут же докладывает: – Боцманмат Северного флота прибыл в ваше распоряжение! Дозвольте поздравить с годовщиной праздника коммунизма и социализма. Все силы мира на борьбу с врагом, мать его за ногу, и в честь этого поднесите!

Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, начинает стлать гостям, чувствуя на глазах горячие слезы, дожидаясь с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнет поражать гостей. И Егор поражает.

Совсем ослотившийся, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами, устраиваясь поудобнее, откашливается, поднимает лицо и запевает.

И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры – непонятно, с испугом все смотрят на него! Не частушки поет он и не современные песни, хоть все их знает и

постоянно мурлычет, – поет он на старинный русский манер, врасстяжку, как бы неохотно, как бы хрипловато, как, слышал он в детстве, певали старики. Поет песню старую, долгую, с бесконечными, за душу хватающими «о-о-о...» и «а-а...». Поет негромко, чуть играя, чуть кокетничая, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего русского, будто бы древнебылинного, что через минуту забыто все – грубость и глупость Егора, его пьянство и хвастовство, забыты дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое, и будущее, и только необычайный голос звенит, и вьется, и туманит голову, и хочется без конца слушать, подпершись рукой, согнувшись, закрыв глаза, и не дышать, и не сдерживать сладких слез.

– В Большой театр тебе надо! В Большой театр! – кричат все сразу, когда Егор кончает, и все возбужденно, блестя глазами, предлагают ему помощь, все хотят написать куда-то: на радио, в газету, позвонить кому-то... Всем радостно, празднично, а Егор, счастливый от похвал, уставший, уже слегка остывший, опять небрежен и насмешлив, и крупное лицо его опять ничего не выражает.

Смутно представляет он себе Большой театр, Москву, летящую четверку коней, свет между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра – как все видел он это в кино, – лениво потягивается и бормочет:

– Все это трали-вали... театры там всякие...

И на него даже не обижаются: так велика теперь его слава, таким непонятным и сильным кажется он теперь гостям. Но это еще не вся слава его.

4

Это не вся слава его, а только четверть. А настоящая слава бывает у него, когда, как он сам говорит, его затянет. Затягивает же его раза два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему.

Тогда хандрит он с самого утра, с самого же утра и пьет. Пьет, правда, понемногу и время от времени лениво говорит:

– Ну чего... Давай, что ли, это... А?

– Чего? – притворяется непонимающей Аленка.

– Споем, что ли... дуэтом, а? – вяло говорит Егор и вздыхает.

Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затянуло. И она ходит по сторожке, все что-то чистит, что-то моет, уходит на реку полоскать белье, снова возвращается...

Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. И Егор уже не просит «дуэта», он встает, нечесаный, хмурый, смотрит в одно окошко, в другое, выходит, пьет воду, потом сует в карман бутылку с водкой, берет полушубок.

– Далеко ль собрался? – невинно спрашивает Аленка, но все в ней начинает дрожать.

– Пошли! – грубо говорит Егор и косолапо перешагивает порог.

Лицо его бледнеет, ноздри разываются, на висках обозначаются вены. Аленка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идет рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх и вниз по реке, немного подумает, будто не зная, где приладиться, и пойдет потом к любимому своему месту – к перевернутой дырявой плоскодонке, у самой воды, в березках. И там он будет петь с ней, но совсем не так петь, как пел гостям: им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос...

Егор и вправду останавливается на берегу и минуту думает, потом молча идет к плоскодонке. Он стелет здесь полушубок, садится, опираясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвертывает ноги и ставит меж ног бутылку.

А закат прекрасен, а на лугах туман, как разлив, и черна полоска леса на горизонте, черны верхушки стогов. А ветви берез над головой неподвижны, трава волгла, воздух спокоен

и тепел, но Аленке уже зябко, прижимается она к Егору, а Егор берет дрожащей рукой бутылку и глотает из нее, передергиваясь и хакая. Рот его полон сладкой слюны.

– Ну... – говорит он, вертит шеей, покашливает и предупреждает шепотом: – Только втору давай, смотри мне!..

Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывно и дрожаще чистейшим и высочайшим тенором:

Вдо-о-оль по морю...
Мо-о-орю си-и-инему...

Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно – дух в дух:

Плывет ле-ебедь со лебе-едушко...

Но себя, но своего низкого, матового, страстного голоса она и не слышит уже – где уж там! Чувствует она только, как мягко, благодарно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос.

Ах, что за сладость – песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская сиплоты, то, наоборот, металлически-звучно, все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет петье:

Плывет ле-ебедь, не всколо-о-охнется,
Желтым мелким песком
Не взворо-о-охнется...

Ах, да что же это? И как больно, как знакомо все это, будто уж и знала она всю-то свою жизнь заранее, будто уж и жила когда-то, давным-давно, и пела вот так же, и дивный голос Егора слушала!

Откуль взялся сизо-о-ой орел...

Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению, приклонив ухо, приотвернувшись от Аленки. И дрожит его кадык, и скорбны губы.

Ах, этот сизой орел! Зачем, зачем кинулся он на лебедя белого, зачем поникла трава, подернулось все тьмою, зачем попадали звезды! Скорей бы конец этим слезам, этому голосу, скорей бы конец песне!

И они поют, чувствуя одно только – что сейчас разорвется сердце, сейчас упадут они на траву мертвыми, и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки.

А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь:

– Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...

«А! Трали-вали...» – хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо.

В город

1

Василий Каманин шел рано утром по дороге в Озерище. Сапоги его были в грязи, бурая шея давно не мыта, глаза с желтыми белками смотрели мутно, и от самых глаз начиналась серая щетина. Походка его была неровной, ноги разъезжались и как-то отставали от стремящегося вперед тела. В спину ему дул холодный ветер, по сторонам темнели бесконечные отвалы вспаханной зяби. Между отвалами кое-где свинцово поблескивала вода – дожди шли уже целую неделю. По обочинам дороги мотался на ветру красно-бурый, забрызганный грязью конский щавель.

Накануне Василий Каманин сильно выпил у свата. Сегодня у него болела голова, во всем теле стояла ломота, какая бывала у него только к непогоде, в рот набегала противная слюна. Василий сплевывал, поднимал тяжелую голову, с тоской смотрел вперед. Но впереди была грязная исключустанная дорога, уныло темнели копны соломы, и до самого горизонта – низкое серое небо без малейшего просвета, без надежды на солнце. Василий опускал глаза, привычно выискивал места посуше, но потом, поглощенный мыслями, опять шел как попало, осклизаясь, тяжело переставляя ноги, наклоняясь вперед худым телом.

Жил Василий Каманин в Моховатке, в стоящей отдельно просторной старой избе. Моховатка до войны была большой деревней, и дом Каманиных стоял в общем ряду. Но, отступая, подожгли немцы деревню, вся она сгорела дотла, только Каманины чудом уцелели. После войны деревня вновь отстроилась, но уж далеко было до прежнего, и изба Василия очутилась за выездом. Ему предлагали перевезти избу, он и сам собирался, но как-то все не доходили руки, так и остался жить на отшибе.

Три дочери его одна за другой вышли замуж, уехали жить в город. Изба опустела, Василий все чаще нанимался работать на сторону – был он хорошим плотником, много зарабатывал, но с годами стал скучать, пить, во хмелю был мрачен и бил жену.

Жену Акулину Василий не любил давно. Еще до войны попал он как-то по вербовке на большое строительство, проработал там все лето, и с тех пор мысль переехать жить в город уже не покидала его.

Каждый год по осени, когда было мало работы, его забирала вдруг тоска, он делался равнодушен ко всему, подолгу лежал на дворе, закрыв глаза, и думал о городской жизни. Городских он терпеть не мог, считал всех дармоедами, но жизнь городскую – парки, рестораны, кинотеатры и стадионы – любил до того, что и сны ему снились только про город.

Несколько раз собирался он было совсем и даже корову продавал, но Акулина шептала по ночам о земле, о родине, о хозяйстве, о том, что она с тоски помрет в городе, и он раздумывал и оставался.

Все в колхозе знали о его страсти к городу и посмеивались над ним.

– Что ж, так и не уехал? – спрашивали его.

– Ночная кукушка денную перекукует, – отвечал он, сумрачно усмехаясь и затаивая злобу на жену.

Весной Акулина заболела. Сперва думали – переможется. Потом Акулина стала ходить в медпункт, брала прописанные порошки и микстуры, охотно, с верой в исцеление, пила горькие лекарства. Но исцеление не приходило, становилось, наоборот, все тяжелее и хуже. Тогда были испробованы тайные средства. В дом к Василию зачастили старухи, носили в пузырьках наговоренную воду, настойки на корнях. Но и это не помогло. Глаза у Акулины провалились,

запали виски, лез волос, и вся она неправдоподобно быстро худела, таяла. Люди, видевшие ее недавно здоровой, теперь при встречах останавливались, долго смотрели ей вслед. С ней становилось страшно спать: так она была худа и так стонала во сне. Василий стал спать во дворе, на свежем сене.

Целые дни проводил он в поле, работал на сенокосе, ругался с бригадиром и, сдвинув крупные темные брови, думал о жене, все больше уверяя себя, что скоро она помрет. А вечером возил домой сено, таскал мешки с зерном, выданным авансом на трудодни. Домой приходил усталый, с бурым от солнца лицом, садился на лавку, упирался потрескавшимися ладонями в колени, смотрел исподлобья на жену.

Страшно похудевшая, с неистовым взглядом темных сухих глаз, но все еще красивая, Акулина подавала на стол. Потом, привалясь к стене, трудно дышала, открыв черный рот. На лице ее выступала обильная испарина.

– Вася! – просила она. – Свези ты меня, ради Христа, в город! Свези! Помру я, должно, скоро... Мочи моей нету, больная я вся, Вася!

Василий молча хлебал суп, боясь взглянуть на жену, выдать затаенные свои мысли.

– Свези, Вася! – совсем тихо говорила Акулина и садилась на пол возле стены. – Есть не могу ничего, все назад тошнит. Теперь уж и молока не принимаю... Скотина у нас, Вася! Ходить за нею надо, трудно мне – уж я на карачках... Ползаю, легче мне так. А внутри-то так и жгет, так и жгет!

Свези ты меня, пуцай профессор поглядит. Я уж тут никому не верю, а только худо мне, ой, худо!

И вот теперь Василий шел в Озерище к председателю колхоза просить лошадь для жены, а заодно просить, чтобы совсем отпустили его из колхоза.

Настроение у него было плохое, болела с похмелья голова, злоба на жену, на бригадира и соседей переполняла его. Он ругался и придумывал, как бы ловчее сказать председателю, чтобы отпустил он его в город.

2

В Озерище Василий пришел через час, и даже ноги у него подкашивались: так устал.

Дом председателя выделялся своей величиной, крыльцом со столбиками, железной крышей и высоким двором, крытым не соломой, как у всех, а щепой. В саду под яблонями чернели колоды с пчелами. Тщательно вытирая о скобу сапоги, Василий покосился на колоды, подумал который раз: «Надо бы пчелу завести, хорошее дело!» Но, вспомнив, зачем пришел, только крикнул и, чувствуя непривычное волнение и стеснение, открыл дверь в темные захламленные сени.

В доме было не убрано, грязно, пахло топленным молоком и кислой капустой. На столе стояла швейная машинка, на полу валялись лоскуты материи, на проводах от лампы к приемнику висели носки. Хозяина дома не было. Жена его Марья, крепкая чернявая баба с тугим задом, стояла возле печи, жарко освещенная, двигала ухватом, широко расставив ноги и приседая.

– Здорово! – хмуро сказал Василий, стаскивая шапку. – Где Данилыч-то?

– На что тебе? – так же хмуро, не глядя на Василия, спросила Марья.

– Дело, значит, есть.

– В поле он, чуть свет поехал.

– Домой-то скоро будет?

– Говорил, к завтраку, а там не знаю...

– Погожу тогда! – решительно сказал Василий и тяжело сел на лавку лицом к печи.

Он вынул махорку, хотел было закурить, но вспомнил, что Марья не любит, когда курят в избе, и спрятал кисет. Да и курить что-то не хотелось. В теле была противная слабость, в голове стоял шум.

Василий опустил голову и задумался. Думал он, что жена скоро помрет, надо будет делать гроб и что лучше заранее раздобыться хорошими досками. Барана придется резать, а то и двух на поминки, родни припрет, пожрать любят...

Потом он стал думать, кому и за сколько продать дом и хозяйство и куда поехать. На первое время можно бы в Смоленск, к старшей дочери, а там видно будет. Денег у него, слава богу, соберется, можно будет в городе какой домишко присмотреть.

Потом он стал подбирать наиболее убедительные слова, чтобы председатель не возражал. В мыслях все выходило складно, и никак не мог устоять председатель против Василия.

– Зачем пришел-то? – спросила хозяйка, ставя ухват в угол и садясь к столу.

Василий не сразу понял, о чем его спрашивают, так задумался. Моргая, будто спресонок, он посмотрел на Марьино красивое лицо, на ее полные губы и голубые, слегка навываженные глаза.

– Жена у меня дуже болеет, – наконец сказал он. – Насчет лошади я, в город бы ее свезть. Ну и потом, значит, по своим делам.

– Сколько ей годов-то, Акулине? – без интереса спросила Марья.

– Годов-то? – Василий минуту подумал. – А вот считай: мне пятьдесят пять, ну а ей на два годка помене.

– А! – только сказала хозяйка.

Некоторое время она молчала, тоже о чем-то крепко задумавшись, потом нагнулась к швейной машине, перекусила нитку, разобрала материю, и мерный ровный стрекот наполнил избу.

Василий опять закрыл глаза. Его тянуло лечь на лавку, укрыться с головой, не думать ни о чем, а заснуть... Мысль о том, что нужно дожидаться председателя, говорить и доказывать, что в колхозе ему больше невозможно, а потом идти по грязной дороге назад в Моховатку, – мысль эта наполняла его отвращением и холодом. Между лопаток у него дергало что-то, а кожу на груди и на руках стягивало.

Скоро Василий забылся под стрекот машины, уже не думал ни о чем и вздрогнул, когда в сенях затопали плотные шаги и в избу вошел хозяин.

Был он крупного роста, с маленьким бледным лицом, на котором, как у скопца, росли едва заметные белесые кустики. Он приехал верхом и, войдя в избу, первое время потирал ляжки и морщился, нагнувшись и глядя на что-то в окно.

Василий тоже обернулся и посмотрел: мальчишка уводил вдоль забора высокого костистого жеребца с подрезанным хвостом. Тот разъезжался ногами и задира голову.

– Ну как? – громко спросила Марья, подходя к шестку и берясь снова за ухват.

Председатель, все еще нагнувшись, повернул к ней голову, хотел что-то сказать, но увидел Василия и, смолчав, протянул ему холодную влажную руку. Потом прошел через избу, вздохнул, как человек, сильно уставший, сел на лавку спиной к окну и принялся стаскивать сапоги.

Разувшись, шевеля пальцами босых ног, он смотрел на жену, и лицо его постепенно принимало сонное и тайное выражение. Василий тоже внимательно оглядел Марью, как она напрягалась, передвигая чугуны в печи, на ее сильную спину и невольно подумал: «Ишь, черт, гладкая!»

– Ну, как там у вас? – спросил председатель. – Сено возите?

– Возим, – торопливо ответил Василий, отводя глаза от Марьи. – Возим, но навряд скоро управимся... Дожди не ко времени пошли, дуже сыро. Да и народу мало, по домам сидят.

– Чем у вас там бригадир думает? – поморщился председатель. – Сколько раз говорено было, чтобы свозить! Дождались дождя! Вот погодите, доберусь я до этого бригадира!

Председатель посмотрел на жену и снова вздохнул. Василий кашлянул и поерзал на лавке.

– Скоро, что ль, там? – спросил председатель у жены.

– Сейчас поспеет, – невнятно сказала Марья.

Василий томился. Хозяин не спрашивал, зачем он пришел, а начинать первому о своей просьбе было неловко. Все слова, придуманные им, пока он сидел в ожидании, вдруг пропали, и опять Василий почувствовал, что он совсем болен, что самое главное сейчас – опохмелиться бы и лечь поспать.

– Букатинские поля смотрели, – сказал председатель и оживился, – с корреспондентом с областной газеты. Лен должен хорош быть. Обещал написать про девок-то наших.

Не поворачиваясь, он нашарил позади себя на подоконнике сложенную газету, оторвал клочок, вытянул вперед правую ногу, достал из кармана махорки и закурил.

– Ну! – притворно удивился Василий и тоже торопливо закурил. – Они напишут! Такое ихнее дело – писать...

– Задымили, – хмуро сказала Марья и, хлопнув дверью, вышла во двор.

– Ты зачем ко мне? Дело какое? – спросил председатель, подмигивая вслед жене и улыбаясь Василию.

Василий подобрал ноги, уселся плотнее и наклонил голову.

– Жена у меня дуже болеет, – начал он. – Хочу я ее в город свезть. Дорогу вот только развезло, машины совсем не ходят. Лошадь бы мне, Данилыч...

– Лошадь? – Председатель покряхтел, поскреб голову. – А что, в медпункт не ходила она?

– Была. Только, я так думаю, операцию надо ей.

– Ну ладно! Сегодня уж так, а завтра я скажу, чтобы дали. С утра и поедешь.

– А я ть тоже здоровьем плох стал чегой-то... – опять начал Василий, делая грустное лицо. – Да ты зашел бы когда ко мне, а? – перебил он вдруг себя, вспомнив, что такие дела насухую не делаются. – Брага у меня есть, дочка посылку из города прислала – сахару. Выпили бы, бражка у меня хороша, жена намеренно заварила, ничего бражка. Сальцо тоже есть, восемь пудов потянул поросенок... Зашел бы!

– Зайти можно, – сказал председатель, улыбаясь.

– А я, Данилыч, – подхватил обрадованный Василий, – решил совсем, значит, с колхозом распротиться.

– То есть это как же – распротиться? – Председатель перестал улыбаться.

– А вот так, – сказал Василий, набираясь решимости и поводя глазами. – Вот так, что нету больше моего желания работать тут. Жена хворает, дочки пишат, зовут... Чего мне здесь! Потом же, давно я собирался... Старый председатель отпускал меня, спрости хоть кого хоть! Пушай другие поработают, а с меня хватит. Я по плотницкой части работу себе всегда у городе найду. А тут что?

– Как что! – Председатель оглядел Василия, будто впервые видел. – Ты что, или забыл, об чем на правлении говорили?

– А чего мне правление...

– Погоди, не чегокай! Работы нету! Вот осенью новый телятник будем ставить – это тебе что? Потом клуб перестроить, это тебе не работа? А парники закладывать – не работа?

– Это верно, только пушай другие. И ты меня не держи, все равно уйду, я куда свои права знаю.

– Знаешь? А что в колхозе людей не хватает – знаешь?

– Это меня не касается. Это вы смотрите, чтоб у вас никто не бег из колхозу. От хорошего не побежишь! А мне, может, пожить охота, я тебе не старик какой столетний на печи лежать. А что я с колхоза имею? Культуру я имею? Выпить и то негде.

– Живешь бедно, да? – Председатель хищно согнулся, начал желтеть лицом. – На колхозных работах убился?

– Ты на меня не сипи! – сказал Василий и сдвинул брови. – Не глотничай! Ты фост на меня не подымай! Чего есть, своим горбом добыл, с вашего колхозу зимой снегу не выпросишь.

– Так... Люди работай, люди борись, а ты в город?

– У меня вон жена помирает. – У Василия зазвенело в голове, перехватило дух. – В город ее надо везть? Это как?

– Лошадь мы тебе дадим. – Председатель встал.

– Непустишь, значит? – спросил Василий, тоже вставая.

– Деньгами разбогател, видно?

– Денег у меня черт на печку не вскинет, – серьезно подтвердил Василий.

– Известно! – Председатель громко задышал. – Мастер на стороне хапать. Вот телятник нам построишь, да клуб, да парники, а там поглядим.

– Телятник? А этого не хошь? – Василий сделал непристойный жест.

Председатель отвернулся к окну.

– Кончен у нас с тобой разговор. Катись! Постановления партии знаешь? Грамотный? Ну вот и все. Вызовем на правление, там поговорим!

– Ладно. – Василий нахлобучил шапку. – Ладно, мать твою... Поглядим! Найдем и на твою шею удавку!

Хлопнув дверью, он вывалился в сени, загромыхал с крыльца. Хлюпая носом от обиды, скрипя прокуренными зубами, он быстро шел по улице, пугая примостившихся возле плетня кур.

– Поговорили, растуды твою... – бормотал он, вытирая вспотевшее лицо. – Ясно, без пол-литра какой разговор!

И всю дорогу он жалел, что пришел к председателю без пол-литра.

3

На другой день, с утра выпив браги, Василий пошел на конный двор и через полчаса вернулся на лошади. Привязав лошадь у крыльца, он вынес со двора сена, навалил и умял на телеге, подумав, кинул немного лошади и пошел в дом. Еще с вечера он решил зарезать барана – в городе был сегодня базарный день, а баран две недели уже как кашлял.

Велев Акулине собираться, он взял длинный и узкий немецкий штык и пошел на двор. Барана, черного, крупного и старого, с белым пятном на шее, он еле вытащил из закутка: тот не шел, упирался и дрожал.

– Чуешь, значит? – бормотал Василий и нехорошо улыбался. Передохнув немного, Василий взялся за теплый витой рог. Баран прозрачными глазами смотрел на открытую дверь.

– Ну, молись Богу! – сказал Василий, завалил барана, наступил коленом на мягкий бок и сжал ладонью ему морду. Баран взбрыкнул и вылез из-под колена. Василий, сипло задышав, опять подмял его под себя и отворотил голову назад, натянув горло с белым курчавым пятном. Потом, сжав зубы, примерился и с излишней даже силой резанул по белому пятну.

Баран вздрогнул, обмяк под коленом, из широко разошедшейся раны туго ударила черная почти кровь, заливая солому и навоз, пачкая руки Василию.

По телу барана прошла мелкая дрожь, глаза, по-прежнему смотревшие на свет, прижмурились, помутнели. Теленок, с любопытством принюхивавшийся из своего угла, вдруг засопел и несколько раз толкнулся в стенку.

Василий встал, бросил штык, осторожно вытащил кисет и стал скручивать папироску кровавыми пальцами, густо смачивая бумагу слюной и не отрывая взгляда от барана.

Тот начал подергиваться, потягиваться, глаза совсем закрылись, задние ноги задергались сильнее, и через минуту все тело сильно и мерно билось, ноги взбрыкивали весело, как при беге, разбрасывая солому и куриные ошметки.

Подождав, пока баран стихнет, Василий подвесил его на перевод и стал быстро и ловко снимать шкуру, подрезая мутно-сизую пленку и перерезая сухожилия на ногах.

Разрезав живот, из которого дохнуло паром, он вынул горячую печень, отрезал кусок и с хрустом сжевал, пачкая губы и подбородок кровью.

На крыльцо вышла Акулина, чисто одетая, с узелком в руках. В узелке была смена белья, на случай, если ее положат в больницу. Кое-как вскарабкавшись на телегу, она покрылась дождевиком и стала ждать Василия, с тоской и любовью глядя на темные поля и реку внизу, оглядывая, будто прощаясь навсегда, свой дом и деревню.

Немного погодя со двора вышел Василий, держа, как ребенка, тушу барана, уже разделанную совсем и завернутую в мешок.

Положив барана в передок телеги, он пошел задать корму скотине и запереть дом. А Акулина вдруг услышала сладковатый запах свежей убоины. Раньше она любила этот запах. Он всегда стоял в избах в предпраздничные дни. Но теперь ей стало нехорошо, и она закрыла рот и нос концами платка.

Василий, еще раз хлебнув браги и заперев дом, вышел, подпоясываясь, на крыльцо. Утром он побрился и умылся, надел новую рубаху и теперь выглядел помолодевшим и веселым.

– Вася! – сказала Акулина. – Глянь-ка, красота какая... Помру я, должно, в городе. Больно уж жалко расставаться. Сердце давит...

Василий тоже оглядел поля с темными стогами сена и с черными вспаханymi клинами, речку, потемневшие от дождей крыши деревни, сплюнул и промолчал.

Потом он отвязал и взнуздal лошадь, сильно дергая и разрывая ей губы; поправил еще раз сено в телеге, сел и тронулся. Напуганная лошадь пошла с места быстрым шагом, телега начала переваливаться в широких колеях.

Акулина сидела сзади, сжав плечи, держась за грудь, глядя тоскливыми глазами на избы по обеим сторонам, на березы и рябины с налившимися уже шафранно-красными кистями.

Она глядела и вспоминала всю свою жизнь в колхозе: и молодость, и замужество, и детей, любя все это еще сильнее и острее, зная, что, может быть, никогда больше не увидит родных мест и никого из своих близких. Слезы катились у нее по впалым щекам. Одного она хотела: умереть дома, на родине, и чтобы похоронили на своем кладбище.

Женщины, случившиеся в эту минуту на улице, останавливались и, молча глядя на нее, кланялись. Акулина улыбалась сквозь слезы напряженной стыдливой улыбкой и тоже кланялась – охотно, низко, едва не касаясь головой грядки телеги.

Василий же все понукал лошадь. Красное лицо его было напряженно-ожидаящим и радостным. Он думал о том, как, сдав жену в больницу, поедет на базар, продаст барана, заедет к родне и поедет потом в привокзальный ресторан.

Он будет сидеть там и пить легкое вино, глядя в окно на проходящие поезда. Ему будут прислуживать официантки в белых передничках и наколках, будет играть оркестр, будет пахнуть едой и дымом хороших папирос.

И там уж он, посоветовавшись с родней, решит, как ему быть дальше, как ловчее уехать из колхоза в город и подороже продать дом и все хозяйство.

«Вон бежит собака!»

Давно погас высоко рдевший летний закат, пронеслись, остались позади мертво освещенные люминесцентными лампами пустоватые вечерние города, автобус вырвался наконец на широкую равнинность шоссе и с заунывным однообразным звуком «ж-ж-ж-ж-ж-ж», с гулом за стеклами, не повышая и не понижая скорости, слегка поваливаясь на поворотах, торжественно и устрашающе помчался в темноту, далеко и широко бросая свет всех своих нижних и верхних фар.

В салоне сперва говорили, шуршали газетами и журналами, потихоньку, прямо из бутылки выпивали, закусывали, ходили вперед курить, потом начали успокаиваться, откидывать кресла, отваливаться, гасить яркие молочные лампочки, стали сонно покачивать головами на валиках, и через какой-нибудь час в теплом, сложно пахнущем автобусе было темно, все спали, только внизу, в проходе, горел над полом синий свет, а еще ниже, под полом, струилось намащенное шоссе и бешено вращались колеса.

Не спали только Крымов и его соседка.

Московский механик Крымов не спал потому, что давно не выезжал из Москвы и теперь был счастлив. А счастлив он был оттого, что ехал на три дня ловить рыбу в свое, особое, тайное место, оттого, что внизу, в багажнике, среди многих чужих чемоданов и сумок, в крепком яблочном запахе, в совершенной темноте лежали его рюкзак и спиннинг, оттого, наконец, что на рассвете он должен был выйти на повороте шоссе и пойти мокрым лугом к реке, где ждало его недолгое горячее счастье рыбака.

Он не мог сидеть спокойно, оборачивался, провожая взглядом что-то темное, неразборчивое, проносившееся мимо, вытягивал шею и смотрел вперед, через плечо шофера, сквозь ветровое стекло на далекую матовость шоссе.

А соседка его не спала неизвестно почему. Сидела неподвижно, прикрыв ресницы, закусив красные губы, которые теперь в темноте казались черными.

Не спал в автобусе и еще один человек – шофер. Он был чудовищно толст, волосат, весь расстегнут – сквозь одежду мощно, яростно выпирало его тело, – и только головка была мала, гладко причесана на прямой пробор и глянце-вита, так что даже поблескивала в темноте. Могучие шерстистые руки его, обнаженные по локоть, спокойно лежали на баранке, да и весь он был спокоен, точно Будда, как будто знал нечто возвышающее его над всеми пассажирами, над дорогой и над пространством. Он был силуэтно темен сзади и бледно озарен спереди светом приборов и отсветами с дороги.

Крымову захотелось курить, но совестно было беспокоить соседку, и он не пошел вперед, достал сигарету, нагнувшись, воровато чиркнул зажигалкой, с наслаждением затянулся и выпустил дым тонкой, невидимой в темноте струйкой вниз, под ноги.

– У вас есть закурить? – услышал он шепот соседки. – Страшно хочу курить...

Доставая сигарету, Крымов слегка привалился к ней и близко взглянул ей в лицо, но увидел только бледное пятно с темными провалами глаз, и губы, и прямые волосы до плеч. Он дал ей сигарету и снова чиркнул зажигалкой. Она, так же как и он, прикурила, нагнувшись, загораживая огонек ладонями, которые на секунду стали прозрачно-розовыми, и опять Крымов ничего не рассмотрел, только прямой нос, скулу и опущенные ресницы.

– Ах, как хорошо! – сказала она, затянувшись и наклоняясь к нему. – Это «Ароматные»? Спасибо, они крепкие!

От нее горько и нежно пахло духами, и было в ее шепоте что-то странное, а не только благодарность, будто она просила его: «Ну поговорите же со мной, познакомьтесь, а то мне скучно ехать». И Крымов на минуту ощутил прилив той дорожной легкости, когда хочется говорить игриво, намеками, с нарочитой дрожащей откровенностью в голосе, и будто случайно

касаться груди спутницы, и пригибаться, будто выглядывая что-то в окне, чтобы своим лицом коснуться ее волос и посмотреть, не отстранится ли. А потом, конечно, слова: «Вы меня не так поняли», «Что вы! Разве я такой?» – и, конечно же, адресок, телефон в книжечку или просто назначить встречу там-то и тогда-то – это в случае, если едут в одно место.

Он встрепелся и ощутил сердцебиение, ноздри его дрогнули, но тут же все погасло, заслоненное неистребимым счастьем, которое ждало его утром.

– Это что! – зашептал он, загоревшись уже другим. – Это не курение – в автобусе или в цехе, а вот на реке утром, знаете, когда рыба бьет, и все где-то в стороне, и вдруг у тебя как стебанет! На берег ее выволокешь, с крючка снимешь, бросишь в траву, а она прыгает, ух! Вот тогда закуришь так закуришь!..

– Вы рыбак? – прошептала она.

– Заядлый! – Крымов затянулся и сморщил нос от удовольствия. – Я сам механик, месяцами реки не вижу, у нас работа – производство, завод, это вам не артель, не посидишь... Я последний раз ловил, знаете, когда? В мае! А теперь июль. Я работник толковый, ну, на меня и валят, дали вот три дня отгула за неурочное время. Ну ничего, у меня отпуск скоро, тогда уж я дорвусь!

– Куда же вы едете? – спросила она, и опять в ее шепоте Крымову почудилось что-то странное, какой-то еще вопрос.

– Есть одно местечко, – уклончиво, суеверно пробормотал он. – А вы почему не спите, скоро сходить?

– Нет, я до конца еду... Вы говорите, на три дня? Когда же назад?

– Во вторник.

– Во вторник? Постойте... во вторник...

Она подумала о чем-то, потом вздохнула и спросила:

– А почему же вы не спите?

– Мне сходить в четыре утра.

Крымов задрал рукав куртки и долго смотрел на часы, разбирая, который час.

– Три часа осталось. Да и не спится, тут уж лучше не спать, а то разоспишься, потом на рыбалке будешь носом клевать...

Шофер оглянулся, снова стал смотреть на дорогу, и в фигуре его появилась нерешительность. Потом он осторожно протянул руку к радиоприемнику и включил его. Приемник засипел, шофер испуганно приглушил его и стал осторожно бродить по эфиру. Он нашел одну станцию, другую, третью, но все это были или бормочущие иностранные голоса, или народные инструменты, а это, наверное, ему не нужно было. Наконец из шума возник слабый звук джаза, и шофер отнял руку. Он даже улыбнулся от наслаждения, и видно было сзади, как сдвинулись к ушам его пухлые щеки.

Музыка была тиха, однотонна, одна и та же мелодия бесконечно переходила от рояля к саксофону, к трубе, к электрогитаре, и Крымов с соседкой замолчали, чутко слушая, думая каждый о своем и пошевеливаясь, покачиваясь под ритмические звуки контрабаса.

За окном изредка проносились оставленные на ночь одинокие грузовики на обочинах, и было странно смотреть на их неподвижность и одинокость. Казалось, в мире что-то произошло, и все шоферы ушли, включив на прощание подфарники на крыльях, и подфарники эти будут гореть долго, покуда не иссякнет энергия в аккумуляторах.

Еще реже попадались навстречу такие же, как и этот, междугородные автобусы. Задолго до встречи за горизонтом, за выпуклостью шоссе, начинало дрожать зарево света, потом в неизмеримой дали появлялась сверкающая точка, она близилась, росла, двоилась, троилась, и уже видны были пять мощных фар внизу и наверху, которые вдруг гасли, снова включались и снова гасли, оба автобуса замедляли ход и наконец останавливались. Шоферы, высунувшись, недолго о чем-то переговаривались, от моторов шел дым, и лучи фар пробивали его косыми

столбами. Потом автобусы трогались и через минуту снова мчались в черноту, каждый в свою сторону. «Интересно, куда она едет? – думал иногда Крымов о соседке. – И замужем ли? И почему стала курить: так просто или от горя?»

Но тут же забывал о ней, поглощенный дорогой, ожиданием рассвета, мыслями о трех днях, которые он проживет у реки. Он думал, не начала ли течь палатка, и что это плохо в случае дождя, и не задержится ли автобус по какой-нибудь причине в дороге, а утренний клев между тем пройдет...

Счастливое беспокойство томило его, и соседка занимала воображение. А она теперь молчала, откинув голову на валик кресла и прикрыв глаза. Но когда он слишком долго засматривался вперед на дорогу или в окно, а потом взглядывал на нее, ему казалось каждый раз, что лицо ее будто полуповернуто к нему, а глаза, неразличимые в темноте, следят за ним из-под ресниц.

«Кто она?» – думал он, но спросить не решался. И старался догадаться, вспоминая немногое сказанное ею и тихий ее шепот. Он ее как-то не рассмотрел вечером, не до того ему было, а теперь хотелось, чтобы она была красива.

– Дайте закурить! – внезапно зашептала она. – И расскажите что-нибудь... Что молча ехать, все равно не спим!

Крымов уловил нотку раздражения в ее шепоте, удивился, но промолчал и покорно дал сигарету. «О чем говорить? – думал он, уже сердясь немного. – Странная какая-то». А сам сказал:

– Я все думаю про женщин, что вы охоты не любите, рыбалки, а ведь это большое чувство! А вы не только не любите, а как-то не понимаете даже, будто в вас пустота в этом смысле. Почему бы это?

В темноте было видно, как она пошевелилась, откинула волосы и потерла лоб.

– Охота – убийство, а женщина – мать, и ей убийство вдвойне противно. Вы говорите, наслаждение смотреть, как рыба бьется, а мне это гадко. Но я вас понимаю, то есть понимаю, что вы охотитесь и ловите рыбу не из-за жестокости. Толстой, например, очень страдал потом, после охоты, вспоминая смерть. И Пришвин тоже...

«Ну, понесла!» – уныло подумал Крымов и посмотрел на часы.

– Полтора часа осталось! – радостно сказал он.

Тогда соседка погасила сигарету, подняла воротник плаща, подобрала ноги и положила голову боком на валик, затылком к Крымову.

«Спать захотела, – решил Крымов. – Ну и ладно, давно пора, не люблю языком болтать в дороге! Хорошо еще, что я не женат, – неожиданно подумал он. – А то была бы вот такая, рассуждала бы про убийство, мораль читала... Опупеешь!»

Но ему где-то и обидно стало, и хотя он думал только об утренней рыбной ловле, но прежней глубокой, потрясающей радости уже не ощущал.

Шофер впереди нагнулся, не отрывая взгляда от дороги пошарил что-то внизу, держа одной рукой руль. Потом он выпрямился и стал с чем-то возиться на коленях, по-прежнему держа руль одной левой рукой. Крымов с интересом следил за ним. Наконец шофер взял в рот бутылку, запрокинул ее и отпил. Вздохнул, опять запрокинул и отпил, и видно было, как шея и бока его толстеют и опадают во время глотков.

«Что это он пьет? – подумал Крымов. – Пиво, что ли? Да нет, им не положено в дороге... Ага, лимонад! Хоть бы приехать скорее!»

И тут же вспомнил о своем кофе в рюкзаке и о котелке, и ему захотелось кофе.

Стало заметно светлеть, но зелень на деревьях была еще темна, и только редкие домики, мелькавшие иногда по полям, поражали своей утренней белизной. Во рту у Крымова от курения и жажды пересохло, но настроение улучшилось, он забыл уже окончательно про соседку и думал только про свое место, про реку, про туман и жадно смотрел вперед.

Шофер выключил фары, и рассвет стал заметнее. Светлело с каждой минутой, и все – километровые столбики, рекламные щиты, дорожные знаки, линия горизонта даже на западе – было отчетливо видно.

Миновали пятисотый километр, шофер обернулся, поймал вопросительный взгляд Крымова и кивнул. Через минуту он сбросил газ и взял направо, к обочине. Обозначился крутой поворот, кинулся в глаза большой луг, и там, вдали, метрах в семистах от шоссе, чернели верхушки ивняка.

Автобус уже на холостом ходу катил все медленнее, глуше, тише, шипы на покрышках уже не жужжали, а дробно лопотали, наконец все будто совсем остановилось, и только хруст песка под колесами говорил, что автобус еще движется, проходя последний метр. Все смолкло, шофер снял руки с баранки, сладко потянулся, выпирая отовсюду телом, зевнул и открыл дверь. Он вышел первый и загремел внизу багажником.

– Извините! – сказал Крымов, торопливо поднимаясь и трогая соседку за плечо.

– А? – сказала та испуганно. – Уже? Вы приехали? Пожалуйста, счастливо... Как это? Ни пуха ни пера?

«К черту!» – по охотничьей привычке мысленно ответил Крымов, пробираясь вперед. Он выскочил наружу и прежде всего радостно поглядел на луг, потом обернулся к автобусу. Автобус стоял, огромный, длинный, слегка запыленный, с нагретыми покрышками и мотором, и источал тепло в утреннем холоде. Отделение багажника по правому борту было открыто. Крымов подошел, раздвинул чемоданы и сумки, достал рюкзак и еле нашел спиннинг. Шофер громко хлопнул железной крышкой багажника, запер его и, обойдя автобус спереди, ушел в лес.

– Вот, значит, где ваше место! – раздалось сзади. Крымов оглянулся и увидел соседку.

Она вышла из автобуса и стояла, откидывая назад волосы и глядя на луг. Она была красивая и напоминала киноактрису, но Крымову уже не до нее было.

– Ну, дайте мне на прощание еще закурить, – сказала она, подходя и застенчиво посмеиваясь. – Вы очень добры! А я вас всю ночь мучаю просьбами...

Когда она прикуривала, у нее так дрожали губы и руки, что она долго не могла попасть концом сигареты в огонек. «Чего это она? – удивился Крымов и посмотрел на свой рюкзак. – Надо идти, пожалуй!»

– Вы счастливый! – сказала она, жадно затягиваясь. – В такой тишине три дня проживете. – Она замолчала и прислушалась, снимая с губы табачную крошку. – Птицы проснулись. Слышите? А мне надо в Псков...

«Идти или не идти? – колебался Крымов, не слушая ее. Но уйти сразу теперь было уже неудобно. – Пожужу, пока они уедут, не час же будут стоять!» – решил Крымов и тоже закурил.

– Н-да... – сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

– А знаете, я давно мечтаю в палатке пожить. У вас есть палатка? – сказала она, рассматривая Крымова сбоку. Лицо ее внезапно стало скорбным, углы губ дрогнули и пошли вниз. – Я ведь москвичка, и все как-то не выходило...

– Н-да... – сказал опять Крымов, не глядя на нее, переминаясь и смотря на пустынное шоссе, в лес, куда ушел шофер.

Тогда она затаилась несколько раз, морщась, задыхаясь, бросила сигарету и прикусила губу.

Как раз в эту минуту из придорожных кустов показалась собака и побежала по шоссе, наискось пересекая его. Она была мокра от росы, шерсть на брюхе и на лапах у нее курчавилась, а капли росы на морде и усах бруснично блестели от заалевшего уже востока.

– Вон бежит собака! – сказал Крымов, машинально, не думая ни о чем. – Вон бежит собака! – медленно, с удовольствием повторил он, как повторяют иногда бессмысленно запомнившуюся стихотворную строку.

Собака бежала деловито, целеустремленно, не глядя по сторонам, и стояла такая тишина, что слышно было, как по асфальту клацали ее когти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.